

P-183603



J. Maxwell





Ф. И. ТЮТЧЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

*Редакция, вступительная статья
и комментарии
К. Пигарева*

183603

О Г И З

*Государственное издательство
художественной
литературы
Москва
1945*

О Т Р Е Д А К Т О Р А

В настоящее *избранное* издание включено немногим больше половины всего поэтического наследия Тютчева, если считать, что оно составляет вместе с переводами и стихами, приписываемыми поэту около четырехсот стихотворений. Полностью показан в нашем издании Тютчев — «первый поэт-философ» (Достоевский), автор вдохновенных стихов о природе и человеке. Натурфилософская и любовная лирика Тютчева образует основное содержание первого отдела. Во второй отдел вошли стихотворения, возникшие в связи с событиями и явлениями современной Тютчеву общественно-политической жизни, и стихи, которые могут быть определены, словами А. Майкова, как «отзвуки истории». В этом отделе объединены как прямые лирически-философские и стихотворно-публицистические отклики поэта на окружающую действительность, так и стихотворения, облеченные в форму символов и аллегорий, истинный смысл которых раскрывается лишь посредством комментария. За пределами сборника остались: юношеские стихотворения (кроме «А. Н. М.»), переводы, большинство стихотворений «на случай», в узком смысле слова, и стихи, написанные во время предсмертной болезни. При отборе стихотворений редакция учитывала, что сам Тютчев не оставил нам ни одного авторизованного издания своих стихотворений. Оба сборника, вышедшие при жизни поэта, в 1854 и 1868 годах, не являются выражением его авторской воли, поскольку сам он не принимал непосредственного участия в подготовке их к печати. Мы не знаем, как отнесся Тютчев к первому из этих изданий. Что же касается второго, то оно встретило резкое осуждение со стороны поэта. Вот что писал он по этому поводу своей дочери Е. Ф. Тютчевой: «...Я имел основание надеяться, что издание будет сделано с *известным разбором* (курсив наш. — К. П.) и что не напихают в один жиденький томик целую кучу мелких стихотворений «на случай», всегда представлявших лишь самый преходящий интерес данного момента; вновь же воспроизведенные, они тем самым становятся совершенно

смешными и неуместными». Ему досадно было, что он оказывался «в роли тех жалких рифмачей, которые глупо влюблены в малейший вырвавшийся у них стишок».

Эти строки как нельзя лучше свидетельствуют о строгом отношении поэта к своему слову. «Он не шутит с музой», — сказал о Тютчеве Лев Толстой. Не всё написанное в стихотворной форме, по мнению Тютчева, было достойно печати, а тем более перепечатки.

Текст сборника в основном повторяет текст полного собрания стихотворений Тютчева, выпущенного под нашей редакцией в большой серии «Библиотека поэта» (Ленинград, 1939). Отступления от него допущены лишь в единичных случаях.

К. П.

Ф. И. ТЮТЧЕВ

«Старинный садик, четыре больших липы, хорошо известных в округе, довольно хилая аллея шагов в сто длиною, а мне казавшаяся неизмеримою, весь прекрасный мир моего детства, столь населенный и столь многообразный, — всё это помещается на участке в несколько квадратных футов», — так в 1846 году передавал Федор Иванович Тютчев свои впечатления от давно покинутого им родового гнезда, села Овстуг, в Брянском уезде Орловской губернии.

Там, сорок три года назад (23 ноября 1803 г.), он родился; там протекало его раннее детство; там, в окрестных полях и дубровах, гулял он некогда с заботливым дядькой Николаем Афанасьевичем Хлоповым, вместе с ним хоронил найденную на дороге мертвую горлицу и чертил на ее надгробном камне сентиментальную эпитафию.

Отец будущего поэта, отставной гвардии поручик Иван Николаевич Тютчев, «не обладал ни ярким умом, ни талантами». Это был примерный семьянин и хлебосол. Своим спокойным и рассудительным складом характера он представлял полную противоположность сыну. Поэт во многом напоминал свою мать, Екатерину Львовну (рожденную Толстую), женщину умную, неуравновешенную, «с фантазией, развитою до болезненности».

Мальчик рос, окруженный заботами матери и дядьки. Кроме него, в семье было еще двое детей — старший брат Николай и сестра Дарья, но общим баловнем и любимцем был он. Летние месяцы Тютчевы проводили в своем брянском поместье, на зиму переселялись в Москву, где и жили обычной жизнью барских домов того времени.

Тютчеву не было еще девяти лет, когда Наполеон вторгся в пределы России. От вражеского нашествия семья Тютчевых укрылась в Ярославле. «Нам никогда не случилось слышать от Тютчева никаких воспоминаний об этой године», — пишет биограф поэта

И. С. Аксаков, но «не эти ли впечатления детства как в Тютчеве, так и во всех его сверстниках-поэтах зажгли ту упорную, пламенную любовь к России, которая дышит в их поэзии и которую потом уже никакие житейские обстоятельства не были властны угасить?»

Образ «могучего, южного демона» не раз потом вставал перед поэтическим воображением Тютчева. Много лет спустя, проезжая через Ковно, поэт мысленно перенесся к эпохе единоборства его родины с «дивным вонтелем» и обратился к Неману со следующими словами, показывающими, сколь велико в его глазах было историческое значение Двенадцатого года:

Ты ль это, Неман величавый?
Твоя ль струя передо мной?
Ты, столько лет, с такою славой,
России верный часовой?..
Один лишь раз, по воле бога,
Ты супостата к ней впустил —
И целость русского порога
Ты тем навеки утвердил.

Отгремела гроза Отечественной войны... Тютчевы вернулись в обгорелую Москву. Жизнь мало-помалу вошла в прежнее русло.

Вскоре «после французов» домашним учителем к девятилетнему Феденьке был приглашен молодой поэт-переводчик С. Е. Ранч, проведший семь лет в доме Тютчевых. Влюбленный в классическую поэзию, он сумел пристрастить к литературе и своего питомца. С Горацием или с кем-либо из отечественных писателей подмышкой отправлялись они в подмосковные рощи и там «утопали в чистых наслаждениях» поэзией.

Ранч направлял первые, еще робкие шаги Тютчева на поприще литературы. Под влиянием своего учителя Тютчев пытается подражать Горацию. Двенадцати лет он пишет в гораццианском духе оду «На новый 1816 год». Под измененным заглавием — «Вельможа» — ода эта была прочитана 22 февраля 1818 года известным критиком А. Ф. Мерзляковым в Обществе любителей российской словесности. 30 марта того же года юный поэт избирается сотрудником Общества, а год спустя появляется в печати тютчевское вольное переложение «Послания Горация к Меценату».

Осенью 1819 года Тютчев поступил на словесное отделение Московского университета. Его товарищ М. П. Погодин, впоследствии историк, сохранил нам воспоминания о Тютчеве-студенте. Юноша «с румянцем во всю щеку», полулежащий на диване и погруженный в чтение, — таким запомнился он Погодину. На лекциях он не слишком внимателен: перешептывается с товарищами и строчит эпиграммы на профессоров.

Дневник Погодина и записки поэта к нему помогают нам пред-

ставить себе круг интересов молодого Тютчева. Приятели обмениваются книгами. Тютчев изучает «Мысли» Паскаля и упивается «Исповедью» Ж.-Ж. Руссо. Разговоры двух студентов вертятся вокруг литературы и истории. Они беседуют «о русской словесности, о влиянии, какое словесность одного языка имеет на словесность другого». «Мерзляков должен, — сказал Тютчев, — показать нам историю русской словесности, должен показать, какое влияние каждый писатель наш имел на ход ее, чем именно способствовал к улучшению языка, чем отличается от другого...» Их волнуют вопросы русской культуры. Они то и дело говорят «о состоянии просвещения в России», «о препятствиях у нас к просвещению», «о будущем просвещении у нас». Исторические темы также останавливают на себе их внимание. Они обсуждают «характер Иоанна IV» и различное освещение личности Грозного в трудах Карамзина и Арцыбашева. Каждое сколько-нибудь заметное литературное явление привлекает к себе Тютчева и Погодина. Они толкуют о новой поэме «Руслан и Людмила», «о молодом Пушкине, об оде его «Вольность», о свободном, благородном духе мыслей, появляющемся у нас с некоторого времени». Пушкинская «Вольность» даже вызывает со стороны Тютчева стихотворный отклик, свидетельствующий о свободолобии молодого поэта.

Несмотря на то, что учился Тютчев не особенно прилежно, на экзаменах он выказал «отличные сведения в словесных науках» и в ноябре 1821 года окончил университет со степенью кандидата. В начале 1822 года он приезжает в Петербург и поступает на службу в Коллегию иностранных дел. Весной того же года он получает место сверхштатного чиновника при русской дипломатической миссии в Мюнхене.

Когда Тютчев приехал за границу, литература, музыка, изобразительные искусства и философия переживали свой романтический период. Тютчев любил говорить впоследствии, что он был встречен за рубежом звуками «Волшебного стрелка». Сильное воздействие западноевропейского романтизма сказывается и в лирике Тютчева 20—30-х годов.

Двадцать два года провел Тютчев вне России, лишь изредка приезжая на родину в служебные отпуска. В 1826 году он женится на Элеоноре Петерсон, вдове русского дипломата. Особенно долго жил Тютчев в Мюнхене. Вот что пишет о Тютчеве И. С. Гагарин, близко знавший его в эти годы: «Было бы серьезнейшей ошибкой воображать, что Тютчев... был в течение всего этого времени погружен в германскую стихию. Несомненно, он прочитал изрядное количество германских писателей, в течение нескольких месяцев часто видался с Гейне, беседовал иногда с Шеллингом, но по обществу, среди которого жил, по чтению, его увлекавшему, и по всем навыкам своего ума он был гораздо доступнее француз-

ским влияниям, нежели немецким». «Общество, в котором мы враждались, состояло из дипломатического корпуса, тогда довольно многочисленного, и из трех-четырех местных домов». Разговорным языком в этом обществе был французский. Вот почему Тютчев признавался впоследствии, что он несвободно владеет немецким языком, проведя значительную часть своей жизни в Германии. «Тютчев читал много и умел читать, — рассказывает Гагарин. — Он был осведомлен во всех примечательных событиях, происходивших в политическом и литературном мире, но делами общеевропейскими и французскими интересовался гораздо больше, нежели германскими. Мюнхен был для него как бы ложей, откуда он наблюдал европейскую сцену».

Впрочем, Тютчев имел случай наблюдать европейскую сцену не только издали. Так, в конце 20-х годов он посетил Париж и провел там несколько месяцев, слушая в Сорбонне лекции тогдашних прославленных профессоров (Кузен, Вильмэн, Гизо).

Французские политические события всегда приковывали к себе живейшее внимание Тютчева. Июльскую революцию 1830 года он, по справедливости, расценивал как «начало революционной эры в Европе» и, предвкушая интерес предстоящих «высоких зрелищ», восклицал в своем стихотворении «Цицерон»:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир...

Западноевропейские впечатления не прошли бесследно для Тютчева. Уже в 1825 году, как свидетельствуют записи в дневнике Погодина, Тютчев, приехавший в отпуск в Москву, очень резко отзывался о режиме аракчеевской России: «В России канцелярия и казармы. — Всё движется около кнута и чина. — Мы знали афишку, но не знали действия». Однако дальше этой критики дело не пошло, и Тютчев сурово осуждает декабристов, посягнувших на «вечный полюс» самодержавной России.

Кратковременными приездами на родину не ограничивались связи Тютчева с его соотечественниками. Находясь за границей, Тютчев присылал московским друзьям свои стихотворения. На протяжении 20-х и начала 30-х годов они неоднократно печатались на страницах журналов и альманахов («Галатей» Раича, «Уралия» Погодина и др.). Среди этих стихов были и такие, которые свидетельствуют о полной зрелости поэтического таланта Тютчева и признаются классическими образцами его лирики («Бессонница», «Летний вечер», «Silentium!», «Весенние воды»). Но, несмотря на то, что имя Тютчева несколько раз встречается в разных журнальных рецензиях того времени, не только русская читательская среда, но даже литературные круги еще не имели тогда ясного представления о поэзии

Тютчева. Поэтому важной вехой в его творческой биографии служит 1836 год, ознаменованный появлением стихов Тютчева в пушкинском «Современнике».

Тютчев не был лично знаком с Пушкиным. Посредником между ними стал сослуживец и друг Тютчева князь И. С. Гагарин. Давний поклонник тютчевских стихов, он сообщил их Вяземскому и Жуковскому, а те в свою очередь ознакомили с ними Пушкина. По словам очевидцев, Пушкин пришел в восторг от стихотворений Тютчева и «носился с ними целую неделю».

Узнав о приеме, оказанном его «виршам» Пушкиным, Жуковским и Вяземским, Тютчев писал Гагарину: «Ваше последнее письмо доставило мне особое удовольствие, — не удовольствие тщеславия или самолюбия (такого рода наслаждения отжили свой век), но удовольствие, которое испытываешь, находя подтверждение своих мыслей в одобрении ближнего... И тем не менее, любезный друг, я сильно сомневаюсь, чтобы бумагомаранье, которое я вам послал, заслуживало чести быть напечатанным...»

Однако Пушкин судил иначе. Несколько месяцев спустя он поместил в третьем томе своего «Современника» двадцать четыре стихотворения Тютчева под общим заголовком «Стихотворения, присланные из Германии» и с подписью «Ф. Т.» Восемь стихотворений с теми же заглавием и подписью включены в четвертый том журнала.

Хотя, по позднейшему свидетельству Валериана Майкова, стихи эти при своем появлении и «обратили на себя внимание людей со вкусом и поэтическим тактом», но тогдашняя критика не обмолвилась о них ни единым словом. В то время гремела слава Бенедиктова, а Тютчеву пришлось еще более десяти лет дожидаться гласного признания.

Переписка Тютчева этих лет показывает, что он совмещал обязанности дипломатической службы (с 1828 года он занимает пост младшего секретаря русской миссии в Баварии) и развлечения светской жизни с интересами литературными. В письмах к Гагарину за 1836 год он делится с ним своими впечатлениями по поводу «Трех повестей» Н. Ф. Павлова и нашумевшего сборника стихотворений Бенедиктова. Любя «более всего в мире отечество и поэзию», он радуется доходящим до него художественным проявлениям «возмужалости и совершеннолетия русской мысли». Смерть Пушкина осознается им как общественное, народное горе:

И осененный опочил
Хоругвью горести народной.

Недавно еще Тютчев с Гагариным «часто говорили о месте, занимаемом Пушкиным в поэтическом мире». Теперь эти беседы сведены в классический афоризм: его «как первую любовь России сердце не

забудет». И сам Тютчев, «русский сердцем и душою», остается верен этой «первой любви».

В 1837 году Тютчев получил повышение по службе: он был назначен старшим секретарем русской миссии в Турине. «Одним из самых грустных и угрюмых городов» на свете запечатлелась в памяти Тютчева столица Сардинского королевства. Здесь ему суждено было перенести тяжкую утрату: 27 августа 1838 года умерла его жена.

«Есть ужасные години в существовании человеческом, — писал Тютчев В. А. Жуковскому. — Пережить всё, чем мы жили — жили в продолжение целых двенадцати лет... Что обыкновеннее этой судьбы — и что ужаснее? Всё пережить и всё-таки жить... Не вы ли сказали где-то: в жизни много прекрасного и кроме счастья? В этом слове есть целая религия, целое откровение... Но ужасно, несказанно ужасно, для бедного человеческого сердца отречься навсегда от счастья».

Осенью 1838 года Тютчев встретился с Жуковским на озере Комо. «Горе и воображение» — так определил Жуковский тогдашнее состояние Тютчева. Эти встречи не мало сблизили поэтов. Но Жуковский не мог своей «голубиной» душой постичь полную противоречий натуру Тютчева. И не без изумления заносит он в свой дневник следующие строки о нем: «Он горюет о жене... а говорят, что он влюблен в Мюнхене».

Тютчев поседел с горя после смерти жены, но не был способен «отречься навсегда от счастья». 17 июля 1839 года в Берне он вступает во второй брак, с вдовой Эрнестиной Дёрнберг, внучатой племянницей известного эльзасского баснописца Пфедфеля.

До середины 1844 года Тютчев ведет за границей жизнь частного человека. Однако всё чаще и чаще начинает он подумывать о возвращении в Россию.

К 1841 году относятся его поездка в Прагу и встречи с выдающимся деятелем чешского национального возрождения Вацлавом Ганкой. Знаменитый чешский патриот, ученый и писатель был убежденным другом России и русской культуры. Не удивительно, что именно в альбом Ганки пишет Тютчев свое первое обращение к славянам, призывающее их подать руки друг другу и полное бодрой уверенности в то, что сны отцов станут явью для детей. Такой же величественной явью для Тютчева, в свете его пражских впечатлений, стал рост национального самосознания западных славян. Два года спустя, вспоминая в письме к Ганке свое пребывание в столице Чехии, Тютчев писал: «...посетив Прагу, нельзя не чувствовать на каждом шагу, что на этих горах, под полупрозрачную пелену великого былого, неотразимо и неизбежно зреет еще большая будущность». Поездка в Прагу окончательно укрепила ранее зародившийся интерес Тютчева к судьбам братских славянских народов. С этого времени славянская тема становится одной из основных тем тютчевской политической лирики и публицистики.

Первым публицистическим опытом Тютчева является его статья «Письмо к господину доктору Густаву Кольбу, редактору Всеобщей газеты», вышедшая в 1844 году в Мюнхене отдельной брошюрой на французском языке. Посвященная международным вопросам того времени, в частности взаимоотношениям России и Германии, статья эта представляет как бы итог наблюдений и впечатлений Тютчева за время его жизни на чужбине. Эти наблюдения приводят его к заключению, что в дворянских и буржуазных кругах Германии, начинающих лелеять мечту о германском единстве, царит «пламенное, слепое, неистовое, враждебное настроение» по отношению к России. Напоминая немецкому читателю, что Германия обязана России своим освобождением из-под французского господства, своей национальной независимостью, Тютчев указывает ему на то, что враждебное антирусское расположение умов в Германии не раз приводило к злокозненным замыслам против России, но как и чем они кончались? У России есть надежный защитник. «Истинный защитник России — это история; ею в течение трех столетий неуклонно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу...»

Славянский вопрос занимает видное место в статье Тютчева. В противовес Западной Европе он выдвигает Европу Восточную, где «Россия во все времена служила душою и двигательною силою». Так в форме публицистической статьи Тютчев повторяет мысль, выраженную им еще в 1830 году в поэтических символах стихотворения «Альпы».

Однако значение статьи Тютчева сильно ослаблялось тем, что в ней были очень ощутимы консервативные политические принципы и дипломатические традиции эпохи Священного союза.

В сентябре 1844 года Тютчев с семьей прибыл в Петербург, а через полгода «снова зачислен в министерство иностранных дел».

II

«Тютчев — лев сезона», — так выразился о нем князь П. А. Вяземский, очевидец первых успехов Тютчева в петербургском большом свете. «У меня под боком Вяземский и Тютчев, — писал в это же время их общий знакомец П. А. Плетнев, — но разница в образе жизни не дает мне средств извлечь что-нибудь из их общества: я встаю — они спят, я ложусь — они едут кататься».

Таким бессменным «львом сезона», увлекательным собеседником, тонким острословом и обаятельным насмешником Тютчев остался вплоть до конца своих дней, чаруя окружающих блеском своего неисчерпаемого ума.

Жизнь Тютчева в Петербурге протекает преимущественно в визи-

тах, на вечерах и раутах. Он — желанный гость как в изысканно-скромном и замкнутом салоне Карамзинных, так и в пышно-декоративных гостиных Михайловского и Мариинского дворцов. Служба (с 1846 года — чиновником особых поручений при государственном канцлере, с 1848 года — старшим цензором при министерстве иностранных дел, с 1858 года — председателем Комитета цензуры иностранной) отнимает у него немного времени. «Настоящей службой» его, по выражению М. П. Погодина, становится для него беседа в обществе.

Эта устная беседа в петербургских светских и официальных гостиных и равная ей по оживлению и остроте эпистолярная беседа со своими многочисленными корреспондентами являются своеобразными формами общественно-политической деятельности Тютчева. Но общественно-политическая деятельность поэта порою принимает и более прямые, непосредственные формы. Так, например, под впечатлением западноевропейских революционных событий 1848 года Тютчев обращается к публицистике и в течение нескольких месяцев с увлечением работает над большим трудом на тему «Россия и Запад». Этот замысел поэта известен нам по его конспективным наброскам да по двум законченным главам, напечатанным в виде самостоятельных статей. Первая из них — «Россия и Революция» — вышла в 1849 году в Париже отдельной брошюрой; вторая — «Папство и римский вопрос» — появилась в начале 1850 года в журнале «Revue des deux Mondes». Так как в своих публицистических произведениях Тютчев прежде всего стремился «вразумлять Европу на наш счет» (слова А. И. Тургенева), то все они написаны на французском языке.

Основная мысль, пропихивающая политические высказывания Тютчева конца 40-х годов, с наибольшей яркостью выражена им в аллегорических образах стихотворения «Море и утес». Клокочущим морем представлялся ему революционный Запад, неизбежным утесом рисовалась в его глазах твердыня николаевской России. «1848 год подобен землетрясению, которое, конечно, не все поколебленные им здания превратило в развалины, но зато те, которые устояли, дали такие трещины, что ежеминутно грозят падением», — писал Тютчев в черновиках «России и Запада». В тогдашнем Петербурге, в атмосфере торжества внутренней реакции, Тютчеву казалось, что посреди этих поколебленных зданий Россия одна возвышается как «гигант», не подверженный разрушительному влиянию подземных толчков.

Последние годы царствования Николая I открывают Тютчеву глаза на многое. Крымская война разоблачает перед ним «глупость, подлость, низость» правительственных кругов и «чудовищную тупость» самодержца, приведшего Россию к военному поражению. Письма Тютчева эпохи Крымской войны рисуют невероятную пус-

тоту и легкомыслие петербургского общества, проявлявшиеся в дни, когда геройской смертью умирали защитники Севастополя. «...Никогда в сухопутном и в морском войске не наблюдалось более воодушевления и самопожертвования, чем в этой войне», — с восхищением писал Тютчев. Вся жизнь для него, казалось, сосредоточилась в тягостном и лихорадочном ожидании «севастопольских вестей».

Не это ли неподдельное восхищение перед доблестными героями обороны Севастополя помогло Тютчеву, столь далекому от фронтовой действительности, проникнуться строгой красотой и суровой правдой «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого? Много лет спустя Толстой вспоминал: «Когда я жил в Петербурге после Севастополя, Тютчев, тогда знаменитый, сделал мне, тогда молодому писателю, честь и пришел ко мне. И тогда, я помню, меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах, говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражая мне свое одобрение по поводу моих севастопольских рассказов, особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня в нем удивила чрезвычайно».

Толстой назвал Тютчева «тогда знаменитым». Действительно, после долгого, почти десятилетнего перерыва имя Тютчева вновь появилось на страницах того же самого журнала, где Пушкин когда-то принял его стихотворения. В 1850 году в «Современнике» была помещена статья Н. А. Некрасова, посвященная разбору стихотворений Ф. Т., некогда напечатанных Пушкиным. «Мы решительно относим талант г. Ф. Т-ва к русским первостепенным поэтическим талантам», — открыто заявляет Некрасов, высказывая при этом сожаление, «что он написал слишком мало». Повидимому, Тютчев не остался безучастным к этим похвалам. По крайней мере за 1850—1852 года в «Москвитянине» Погодина, «Рауте» Сушкова и «Киевлянине» Максимовича было помещено значительное число стихотворений Тютчева, а сушковский «Раут» даже известил своих читателей о готовящемся отдельном издании его стихов. Но это зятенное зятем Тютчева Н. В. Сушковым издание почему-то осталось неосуществленным. А там грянула Крымская война...

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное! —

утверждал Тютчев в одном из стихотворений, написанных в эту пору. Однако не все думали так. И как раз в феврале 1854 года, когда Тютчев писал жене: «Мы, по всем вероятностям, накануне одного из самых ужасающих кризисов, когда-либо потрясавших мир... Россия опять одна против всей враждебной Европы, ибо мнимый нейтралитет Австрии и Пруссии — лишь только переходная ступень к открытой вражде», — в это же самое время И. С. Тургенев сооб-

щал С. Т. Аксакову: «Я здесь уговорил Тютчева, Ф. И., издать в свет собрание своих стихов». Последствием этого «уговора» явился сборник стихотворений Тютчева, вышедший в виде приложения к мартовскому выпуску «Современника» за 1854 год. В майской книжке было дополнительно помещено еще восемнадцать стихотворений. Одновременно сборник этот был выпущен отдельным изданием. Тургенев не только был редактором издания, не только снабдил его предисловием, но и напечатал в апрельском номере «Современника» статью «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева». Этой статьей он продолжал начатое Некрасовым дело «открытия» Тютчева, — «одного из самых замечательных наших поэтов, как бы завещанного нам приветом и одобрением Пушкина».

Если в пушкинском «Современнике» Тютчев был показан главным образом как певец природы, как поэт-натурфилософ, то на страницах некрасовского «Современника» он был представлен значительно шире. Наряду с отдельными образцами политической лирики Тютчева здесь впервые был опубликован изумительный цикл его поздних любовных стихотворений. Этот цикл не только включает в себе глубоко душевную исповедь тютчевского сердца, но и является выдающимся лирическим памятником общечеловеческого значения. Реальным поводом к созданию этого потрясающего по своей трагической силе цикла послужила любовь Тютчева к Е. А. Денисьевой, племяннице инспектрисы Смольного института, где воспитывались дочери поэта. Эта незаконная в глазах света любовь повлекла за собою тяжчайшие переживания для обоих. Сам поэт сочетал в своем сердце привязанность к своему «земному провидению», каким была для него вторая его жена, с этой «последней любовью», которую он определял словами: «блаженство и безнадежность». Вся любовная лирика Тютчева отмечена печатью рокового «предопределения».

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепости страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Год встречи с Денисьевой (1850) и год ее смерти (1864) были в поэзии Тютчева годами творческих взлетов. Вместе с тем творческий подъем 1864—1865 годов был последним; с этого времени поэтические и жизненные силы начинают заметно в нем угасать. Правда, Тютчев до конца своих дней не перестает живо отзываться на события и явления окружающей жизни, всегда в особенности интересуясь вопросами внешней политики. В качестве чиновника цензурного ведомства Тютчев старался, «не выходя из пределов закона», постоянно соотноситься с разумом закона, требованиями века и общества». Борьба с «лицемерно-насильственным произволом», каким была в глазах Тютчева царская цензура, не раз приводила поэта к

серьезным столкновениям с начальством. «У меня на-днях была неприятность в министерстве, всё по поводу этой злосчастной цензуры», — пишет он однажды жене. — Конечно, в этом не было ничего особенно важного, и однако, не будь я так нищ, я с наслаждением бросил бы им в лицо содержание, которое я получаю, и открыто сразился бы с этим стадом скотов, которые, невзирая ни на что, и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены роком жить и умереть безнаказанно в своем кретинизме». Тютчевская критика самодержавно-бюрократического режима сурова и неприемлима. Монархические убеждения, близость к правительству и ко двору (старшая дочь Тютчева была фрейлиной и воспитательницей дочери Александра II) не мешали Тютчеву быть зорким наблюдателем ограниченности и пустоты окружающей его среды. В его поэзии, однако, эта острота сатирического восприятия, столь блестяще проявившаяся в его письмах, не нашла настоящего отражения, если не считать нескольких эпиграмм, отнюдь не принадлежащих к числу лучших и характерных образцов тютчевского творчества.

Несмотря на любовь Тютчева к жизни, на его жадное любопытство ко всему, происходящему в мире, последние девять лет его личной жизни становятся для него годами медленного приближения к «роковой очереди». Со смертью Е. А. Денисьевой открывается длинный ряд утрат близких Тютчеву людей. Один за другим они «уходят, как последние карты в пасьянсе». В 1866 году умирает его мать; в 1870 году — сын Дмитрий и старший брат Николай, — «брат, столько лет сопутствовавший» поэту; в 1872 году погибает от чахотки младшая дочь Мария, жена севастопольца Н. А. Бирлева. События глубокого исторического значения, совершающиеся в Западной Европе (франко-прусская война, Парижская Коммуна, объединение Германии), отвлекают Тютчева от личных потерь, но годы берут свое:

Дни сочтены, утрат не перечеть,
Живая жизнь давно уж позади...

С нового 1873 года жизнь превращается для него в борьбу со смертью, в постепенное умирание. Но если физические силы ему изменяют, то ум остается попрежнему светлым. «Жить значило для него мыслить, — рассказывает биограф поэта И. С. Аксаков. — Прикованный к постели, ...он истинно дивил и врачей и посетителей блеском своего остроумия и живостью участия к отвлеченным интересам». До последнего вздоха он цепляется за всё, что напоминает ему о «живой жизни». Он читает принесенные ему новые книги Вильмэна и Сент-Бёва, дрожащей рукой пробует писать стихи, коснеющим языком спрашивает: «Какие последние политические новости?», полной грудью впивает сильный аромат цветов, стоящих у

его изголовья. «Сделайте так, чтобы я хоть немножко чувствовал жизнь вскруг себя», — упрашивал он окружающих. Свое безысходное болезненное состояние поэт определил словами: «Это мой Седан». Ранним утром 15/27 июля 1873 года Тютчев умер в Царском селе.

III

В 1836 году Тютчев писал о стихах Бенедиктова:

«В них есть вдохновение и, что служит хорошим предзнаменованием для будущего, наряду с сильно выраженным идеалистическим началом, склонность к положительному, вещественному и даже чувственному. Беды в этом нет... Чтобы поэзия процветала, она должна иметь корни в земле».

Эти строки — прекрасный эпиграф к стихам самого Тютчева. Мы узнаем в этих словах поэта, обратившегося к «матери-Земле» с восгорженным признанием в любви:

Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать-Земля!
Духов бесплотных сладострастья,
Твой верный сын, не жажду я.
Что пред тобой утеха рая,
Пора любви, пора весны,
Цветущее блаженство мая,
Румяный свет, златые сны!

Пора весны манила его всегда особой притягательной силой. Одним из самых жизнеутверждающих стихотворений Тютчева является его весенний гимн:

Весна — она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле;
Бессмертьем взор ее сияет
И ни морщины на челе...
Цветами сыплет над землею,
Свежа, как первая весна;
Была ль другая перед нею —
О том не ведаст она.
По небу много облак бродит,
Но эти облака ея:
Она ни следу не находит
Отцветших весен бытия.
Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет,
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет,
И страх кончины неизбежной
Не свет с древа ни листа, —
Их, жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.

Сам Тютчев всегда жил настоящим и в настоящем. В то время как для Жуковского воспоминание было родником сладостных наслаждений, для Тютчева чаще всего оно являлось источником душевных мук и тягостных дум:

Усопших образ тем страшней,
Чем в жизни был милей для нас.

Смерть возлюбленной вызывает у Тютчева иступленный крик сердца: «Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...»

До конца дней Тютчев оставался «верным сыном» Земли. Она была главной вдохновительницей поэта.

18.3.003
Долгое время Тютчева считали одним из самых последовательных и убежденных жрецов «чистого искусства». Сам он ни разу не высказывал своих литературно-теоретических воззрений. Однако мимолетные суждения о прочитанном, встречающиеся в письмах Тютчева, не позволяют принять эту точку зрения на его творчество, — во всяком случае, принять ее без существенных оговорок и ограничений. Вот, например, что пишет Тютчев о «Трех повестях» Н. Ф. Павлова, изобразившего в первой из них трагедию крепостного «интеллигента» («Именины») и закончившего третью («Ятаган») жутким наброском «зеленой улицы»: «...недавно я с истинным наслаждением прочитал три повести Павлова, в особенности последнюю. Кроме художественного таланта, достигающего тут редкой зрелости, я был в особенности поражен возмужалостью, совершеннолетием русской мысли. И она сразу же коснулась самой сердцевины общества. Свободная мысль сразилась с роковыми общественными вопросами и однако не утратила художественного беспристрастия. Картина верна и в ней нет ни пошлости, ни карикатуры».

Когда Тургенев выпустил свои «Записки охотника» — этот, по замечанию Герцена, «обвинительный акт крепостничеству», — Тютчев в письме к жене дал следующую высокую оценку новому литературному произведению: «Я так и думал, что ты оценишь книгу Тургенева. Полнота жизни и мощь таланта в ней удивительны. Редко встречается в такой мере и в таком полном равновесии сочетание двух начал: художественное чувство и чувство глубокой человечности. С другой стороны, не менее удивительно сочетание реальности в изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровенного, и сокровенного природы со всей его поэзией».

В обоих отзывах Тютчева — о «Трех повестях» Павлова и «Записках охотника» Тургенева — бросается в глаза внимание поэта не только к художественной, но и к общественной стороне произведения. Если Тютчев так именно подходил к оценке литературных явлений, то было бы крайне опрометчиво и ошибочно зачислять его в разряд завязтых теоретиков «чистой» поэзии. И не случайно, что горячий противник теории «чистого искусства» Н. А. Добролюбов

не только не относил Тютчева к числу поэтов, «трагящих свой талант на образцовые описания листочков и ручейков», но в немногих строках показал пример правильного понимания тютчевской лирики: «Судя по тому, как глубоко проникает взгляд писателя в самую сущность явлений, как широко захватывает он в своих изображениях различные стороны жизни, — можно решить и то, как велик его талант. Без этого все толкования будут напрасны. Например, у г. Фета есть талант, и у г. Тютчева есть талант: как определить их относительное значение. Без сомнения не иначе, как рассмотрением сферы, доступной каждому из них. Тогда и окажется, что талант одного способен во всей силе проявиться только в уловлении мимолетных впечатлений от тихих явлений природы; а другому доступны, кроме того — и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни» («Темное царство»). В статье «Когда же придет настоящий день?» Добролюбов привел стихотворение Тютчева «Русской женщине», указав на то, что эти «безнадежно-печальные, раздирающие душу предвещения поэта» в мертвящей атмосфере крепостнической России сбываются «так постоянно и беспощадно... над самыми лучшими, избранными натурами».

К такому же роду «дум», подсказанных вопросами нравственными или наблюдениями над окружающей жизнью, относятся (не говоря уже о стихотворениях политических в прямом смысле слова) такие стихи Тютчева, как «Слезы людские, о слезы людские...», «Пошли, Господь, свою отраду...», «Чему молилась ты с любовью...», «Эти бедные селенья...», «Над этой темною толпой...», «Когда дряхлеющие силы...», «Две силы есть — две роковые силы...» и др. Всем им, в большей или меньшей степени, присуща та «суровая энергия», о которой сказал Добролюбов. «Знойной страстностью» окрашена вся любовная лирика Тютчева и многие стихотворения, исповедующие его чувство к природе. Добролюбов очень верно отметил, что «тихие явления» природы — не единственный источник творческих вдохновений для Тютчева. Ведь и в представлении широкого читателя Тютчев живет прежде всего как песнопевец грозы и ночного ветра.

Это пристрастие к «стихийным спорам» глубоко органично для Тютчева: оно теснейшим образом связано с космическим сознанием поэта. В основе всего существующего, по глубокому убеждению Тютчева, кроется изначальный «родимый» хаос, — говоря словами Державина, «хаоса бытность довременна». «Тихие явления» природы — только «златотканый покров», накинутый на «безымянную бездну». В «страшных песнях» полуночного ветра, в безотчетных ужасах ночи оживает, «шевелится» этот «древний хаос». Свою душу — душу поэта — Тютчев называл «жилищей двух миров». Один — был мир ночной, мир вещей откровений и «пророческих снов»; другой —

«мир дневной», зримый и осязаемый, «в полном блеске проявлений». Певцом этих двух миров и был Тютчев.

Некрасов первый указал на умение Тютчева «уловить именно те черты, по которым в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина». Чего стоит, например, этот «паутины тонкий волос» — в тютчевском описании ранней осени, или «первый желтый лист», который «крутятся, слетает на дорогу», в его изображении летних бурь. Но оттого, что Тютчев, как большой художник, был тонким и проникновенным пейзажистом, его лирика природы не становится пейзажной. Сам по себе пейзаж не так часто встречается у Тютчева. Но подобно тому, как в живописи существовали и классический, и романтический пейзажи, так тютчевский пейзаж может быть назван *символическим*.

«Самый любимый и вместе с тем совершенно самостоятельный прием тютчевского творчества состоит в проведении полной параллели между явлениями природы и состояниями души», — так определил одну из отличительных особенностей поэзии Тютчева В. Брюсов. Тютчев по-разному пользуется этим приемом. Простейшим примером его является параллель, подчеркнутая синтаксически и строфически («Поток сгустился и тускнеет... — Так и в груди осиротелой...»; «Как над горячею золой... — Так грустно тлится жизнь моя...»). Это параллель-сравнение нередко и у других поэтов. Своеобразие Тютчева в данном случае проявляется в том, что он применяет ее и в обратном порядке: стихотворение «Когда к кругу убийственных забот...» открывается изображением внутреннего мира человека, а затем, в качестве аналогии, следует обращение к природе («Так иногда, осеннею порой...»). Однако та *самостоятельность* Тютчева в «проведении полной параллели (вернее, отождествления — К. П.) между явлениями природы и состояниями души», о которой пишет Брюсов, сказалась не в этом. Есть у Тютчева такие стихотворения, в которых «граница между тем и другим как бы стирается, исчезает, одно неприметно переходит в другое» («Есть в светлости осенних вечеров...», «В душном воздухе молчанье...», «Волна и дума»); нередко образ, взятый из мира природы, дается поэтом сам по себе, но за ним угадывается второй план, что придает стихотворению характер поэтического символа («Что ты клопишь над водами...», «Обвеян вещею дремотой...»).

Сходство в восприятии Тютчева между явлениями внешнего мира и мира внутреннего обусловило особенности тютчевской поэтики (его эпитетов и метафор). О природе Тютчев говорит таким языком, каким принято говорить о человеке:

В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Мы все употребляем в нашей повседневной речи метафоры:

солнце выглянуло, природа спит, звёзды смотрят, но от этого ни солнце, ни природа, ни звезды не олицетворяются в нашем сознании. Но Тютчев постоянно подновляет эти ходячие метафоры эпитетами, тем самым наделяя образы неодушевленной природы свойствами живых существ:

Здесь, где так вяло свод небесный
На землю тощую глядит,
Здесь, погрузившись в сон железный,
Усталая природа спит.

(«Здесь, где так вяло...»)

Неохотно и несмело
Солнце смотрит на поля...
Солнце раз еще взглянуло
Исподлобья на поля....

(«Неохотно и несмело...»)

Чуткие звезды глядят с высоты...

(«Как хорошо ты, о море ночное...»)

Если в раннем стихотворении «Летний вечер» Тютчев доходит до прямой мифологизации образа земли (это слово в данном стихотворении можно было бы писать с прописной буквы, что и делает иногда Тютчев в подобных случаях), наделяя ее главой, ногами и жилами, то и в позднейших его стихах образы природы (например, весны и зимы) конкретизированы до настоящих олицетворений («Весенние воды», «Чародейкою Зимою...», в особенности— «Зима недаром злится...» и «Весна»). Это олицетворение природы не случайно: оно закономерно вытекает из самых глубин мироощущения поэта.

Свое восприятие природы Тютчев впервые выразил в стихотворном послании к А. Н. Муравьеву «Нет веры к вымыслам чудесным...». Его понимание природы насквозь романтично. Он завидует древним народам, для которых «мир был храмом всех богов» и которые «книгу матери-природы читали ясно, без очков». Тютчевская лирика природы была проникнута постоянным стремлением прочесть без очков эту книгу. Он любовно рисует в своих стихах образы тех, кто сумел найти ключ к ее страницам. Вот «бедный странник», со своим первобытным мышлением, по-детски радующийся природе и становящийся «угодным Зевсу» («Странник»). Вот мудрец, достигающий высшей грани прозрения, беседующий с громами и играющий с зефирами («На древе человечества высоко...»). Вот, наконец, поэт:

Великой матерью любимый,
Стократ завидней твой удел:
Не раз под оболочкой зримой
Ты самоё ее узрел...

(«А. А. Фету»)

Это сказано о Фете, но с еще большим правом можно применить эти слова к самому Тютчеву.

Высшей реальностью в мире представлялась Тютчеву она — «мать-природа», «великая мать». «Бессмертьем взор ее сияет». Напротив, человек не более как «греза природы», «злак земной», «мыслящий тростник». И, несмотря на постоянно возникающие в творчестве Тютчева аналогии между явлениями природы и душевным состоянием человека, аналогии эти подчас и самому поэту представляются только кажущимися. С одной стороны — «гармония в стихийных спорах», «созвучье полное в природе», с другой — преисполненное противоречий бытие человека с его «призрачной свободой». «Человеческое Я» лишь «обольщение» нашей мысли. Присутствие человека нарушает «невозмутимый строй» природы.

В самом себе человек несет «родовое наследье» хаоса. Эти хаотические начала, kloкочущие в недрах человеческой души, прорываются наружу «взрывами страстей». Любовь, в глазах Тютчева, всегда была страстью, которая «потрясает существование и в конце концов губит его». Такое представление сложилось у него не без влияния биографических и социально-бытовых причин. Любовь в лирике Тютчева — не безмятежный «союз души с душой родной», а «поединок роковой» двух сердец:

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно-млея,
Оно изноет наконец.

Есть среди поздних стихотворений Тютчева одно, которое могло бы послужить прологом ко всей любовной лирике поэта: «Две силы есть — две роковые силы...» Это — смерть и суд людской. Первая «честней» и нелюбезней: всех равняет она своей косой. Не таков свет: он «не косит сплошь, но лучшие колосья нередко с корнем вырывает вон». Через всю лирику Тютчева, начиная со стихотворения 20-х годов «К Н. Н.», проходит индивидуальный образ женщины, «так пламенно, так горячо любившей *наперекор и людям и судьбе*». Нам незачем знать, кто она, — до такой высокой степени психологического обобщения поднят этот образ поэтом. Не он, не способный оградить любимую женщину от «глупых сплетней, злых речей» позорящего ее света, а она — эта «гордо-молодая сила», бестрепетно идущая навстречу клевете, презирующая «угрозы, брань и страстную хулу», является центральным образом любовной лирики Тютчева. Его стихи — дань благоговейного преклонения перед той, которую не щадит своим приговором «суд людской»:

Да, горе ей — и чем простосердечней,
Тем кажется виновнее она...
Таков уж свет: он там бесчеловечней,
Где человечно-искренней вина.

Стихи Тютчева о любви образуют законченный цикл, единый в своей цельности и не имеющий себе равного во всей мировой поэзии. Эти стихотворения прекрасно подтверждают характеристику, данную поэзии Тютчева Добролюбовым. В них явления современной поэту, и прежде всего личной, жизни раскрыты и обобщены до значения общечеловеческого.

IV

Поэзия Тютчева не отличается разнообразием тем. Еще в 1854 году И. С. Тургенев писал: «Круг г. Тютчева не обширен — это правда, но в нем он дома». Один из современных литературоведов указал на наличие в поэзии Тютчева тематических повторений (два стихотворения о зарницах, два — о слезах, два о «страхах» ночи, несколько о грозе и т. п.). Между тем вряд ли кто решится назвать Тютчева однообразным. Даже тогда, когда он говорит об одном и том же, он говорит по-новому. Вот почему каждому, любящему поэзию Тютчева, знакомо то ощущение, которое прекрасно выражено Фетом в следующих образных строках его статьи о Тютчеве:

«Два года тому назад, в тихую осеннюю ночь, стоял я в темном переходе Колизея и смотрел в одно из оконных отверстий на звездное небо. Крупные звезды пристально и лучезарно глядели мне в глаза и, по мере того, как я всматривался в тонкую синеву, другие звезды выступали передо мною и глядели на меня так же таинственно и так же красноречиво, как и первые. За ними мерцали в глубине еще тончайшие блески и мало-помалу всплывали в свою очередь. Ограниченные темными массами стен, глаза мои видели только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необъятно и что нет конца его красоте. С подобными же ощущениями раскрываю стихотворения Ф. Тютчева».

Это впечатление касается не только внутренней стороны тютчевской поэзии, но и ее формы. Чем более вслушиваешься в его стихи, тем более разнообразных оттенков улавливаешь в них. Поэзия Тютчева играет «тончайшими блесками», различаемыми не сразу. Не в разнообразии стихотворных жанров, не в богатстве метрических форм, не в новизне и редкости рифмы — отличительные особенности Тютчева-мастера. Решительно чужды ему и всякие чисто внешние, кричащие эффекты.

Характерной чертой поэзии Тютчева является совершенное отсутствие в ней повествовательных жанров. Тютчев — лирик, но и его

лирика лишена жанровых признаков и не поддается жанровой классификации.

Сказанное Тургеневым о тематическом диапазоне творчества Тютчева можно применить и к тютчевской метрике. Тютчев не стремился к метрическому многообразию. Через всё его творчество проходит в качестве основной метрической формы ямб. Обычно это ямб четырехстопный, реже пятистопный, еще реже смешанный. Другие виды ямба встречаются у него лишь в исключительных случаях. Наряду с ямбом Тютчев охотно пользуется четырехстопным хореем. Из прочих видов хорей Тютчев только однажды применил пятистопный («Вот бреду я вдоль большой дороги...» — 1865 г.). Трехсложные размеры крайне редки у Тютчева. За пятьдесят с лишним лет творчества он один раз написал стихотворение двухстопным амфибрахием («Листья»), пять раз — четырехстопным амфибрахием и три раза четырехстопным дактилем («Слезы» — конец 40-х годов, «Волна и дума» — 1865 г., «Как хорошо ты, о море ночное» — 1865 г.). Анапест, ни разу не употреблен Тютчевым самостоятельно, но отдельные анапестические строки вкраплены в замечательное стихотворение «Сон на море». Вообще Тютчев не боится метрических перебоев, нередко достигая тем самым большой ритмической выразительности.

«Сон на море» — один из показательных образцов тютчевского поэтического мастерства. Д. Д. Благой, посвятивший «Сну на море» специальный разбор, указал на полное соответствие между смысловой, метрико-ритмической и образной сторонами стихотворения. Чередующиеся в нем зрительные (сон) и звуковые («хаос звуков») ощущения подчеркнуты его ритмическим строем. «Мотив взнесенного парящего сна передается поэтом исключительно амфибрахием (∪ | ∪), этим из всех трехсложных размеров самым спокойным, уравновешенным. Там же, где на сцену выступают ощущения звукового порядка — грохот пучины морской, — размер ломается; в амфибрахические строки врываются строки с анапестами (∪ ∪ |) и дактилями (| ∪ ∪), самым чередованием поднимающихся и падающих стоп своих великолепно передающие свист бури, размах колеблющихся волн».

Такая же смена наблюдается и в слове стихотворения. Образы «волшебного-немоего» сна — исключительно зрительного порядка (даже толпа «безмолвна»); им противопоставлены сплошь звуковые ощущения, вызываемые «прихотью волн» (поэт не видит ни скал, ни взбунтовавшихся валов, но слышит, как они «звучат» и «поют»; не видит бушующего моря, но слышит грохот пучины морской).

Стихотворение «Сон на море» — блестящее подтверждение того, что ритмические отступления Тютчева от правильного метра всегда оправданы смыслом. Вот почему их нельзя рассматривать ни как ошибки, ни как эксперименты над стихом. И в «Silentium», и в

«Последней любви» отступления от основного размера, казалось бы нарушающие общую метрико-ритмическую ткань стихотворения, внутренне обоснованы. Даже в стихотворении «Смотри, как на речном просторе...» одиноко выпадающая из четырехстопного ямба строка «Лыдина за лыдиною плывет» передает ритм медленного движения ледохода.

Все доступные Тютчеву средства художественной изобразительности неизменно были подчинены одной основной цели — наиболее полному раскрытию лирического содержания.

Так, например, тютчевская рифма сама по себе не отличается особенным пблнзвучием или изысканностью. Она не поражает слуха, и в этом отношении ей далеко до рифм Каролины Павловой или Валерия Брюсова. Зато в системе тютчевской ритмики чрезвычайно выразительны разные виды внутренней рифмы. При этом внутренняя рифма у Тютчева приобретает не композиционное, а чисто смысловое значение. Не будучи связана с строфической формой стихотворения, она лишь подчеркивает тот или иной оттенок содержания:

Как море вешнее в разливе,
Светлея, не колыхнет день,
И торопливей, молчаливей
Ложится по долине тень.

(«Вечер»)

То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя,
Увлечена, в душе уязвлена,
Я стражду, не живу... им, им одним живу я,
Но эта жизнь!.. О, как горька она!

(«Не говори: меня он, как и прежде, любит...»)

Звуковая сторона стихотворения никогда не представлялась Тютчеву самоцелью. Но язык звуков был ему понятен.

Однажды обращая внимание жены на стихи Вяземского «Ночь в Венеции», Тютчев писал: «Своей нежностью и мелодичностью они напоминают движение гондолы. Что это за язык — русский язык!» Сам Тютчев был большим мастером звукописи. Его аллитерации и ассонансы всегда подсказаны и оправданы внутренним содержанием стихотворения. Изумительными образцами тютчевской звукописи являются такие стихотворения, как «Весенняя гроза», «Сон на море», «Тени сизые смешались...», «Как хорошо ты, о море ночное». В этих стихах сами звуки напоминают читателю то о резвых раскатах первого грома, то о наплывающих дремотных сумерках, то о «блеске и движении» морской стихии.

Восхищаясь «стремительностью», «красивостью» стиха и «богатством созвучий» в стихотворении «Море и утес», И. С. Аксаков находил его «превосходным, но не в тютчевском роде». Это не верно.

В стихотворении «Море и утес» только более отчетливо, более обнаженно и ошутимо на слух выступают особенности, вообще присущие поэзии Тютчева. В других случаях они различаются лишь путем внимательного вчитывания или вслушивания. Но разве не то же смысловое значение имеют такие звуко сочетания Тютчева, как:

Тени сизые смешались,
Цвет поблекнул, звук уснул...
(«Тени сизые...»)

Толпа, нахлынув, в грязь втоптала
То, что в душе ее цвело.
(«О, как убийственно мы любим...»)

Немолчно слышен птичий свист...
(«Как весел грохот летних бурь...»)

Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных шорах
И стройный мусикский шорох
Струится в зыбких камышах.
(«Певучесть есть...»)

Подобных примеров у Тютчева много. Они говорят о том, что «его музыкальность не в одном внешнем гармоническом сочетании звуков и рифм, но еще более в гармоническом соответствии формы и содержания» (И. Аксаков).

V

Много написано о «невольности» и «бессознательности» творчества Тютчева, о том, что по натуре своей он не был литератором, не был писателем-профессионалом. Гончаров считал Тютчева дилетантом в литературе. Его литературные друзья и собеседники — одновременно либо его светские знакомцы (Вяземский, Тургенев), либо его сослуживцы (А. Майков, Полонский). В доме Тютчевых ничто не выдавало присутствия литературного деятеля. Поэт никогда не смог бы поделиться не только с любопытным корреспондентом, но и с близким другом своими творческими планами. Такие планы были у Пушкина, у Достоевского, даже у Лермонтова, столь далекого от писательского профессионализма, но их не было у Тютчева, как не было у него ни определенных часов для литературной работы, ни тетрадей для черновиков. По меткому замечанию биографа, он не писал, а лишь записывал стихи — где попало и на чем попало.

Вот он возвращается домой, хмурым осенним вечером, промок-

ший от дождя, усталый. И, не успев переодеться, он уже диктует встретившей его дочери «несколько бедных рифм», родившихся в его голове:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...

Вот он едет ранней осенью из своего орловского поместья в Москву. Поля сжаты. Дрожит и золотится на солнце паутина. И, глядя на раскинувшийся вокруг пейзаж, он вынимает из кармана листок бумаги с подсчетом дорожных расходов и на обороте его, без единой помарки, скачущим от толчков коляски почерком, карандашом набрасывает стихотворение:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора.

Вот он присутствует на заседании Совета Главного управления по делам печати. Он рассеян и, видимо не вникая в то, что говорится вокруг, рисует или чертит что-то на лежащем перед ним листе бумаги. Уходя, он оставляет его на столе. Один из присутствовавших, следивший за движением руки поэта, подобрал листок и прочел на нем стихотворные строки:

Как ни тяжел последний час...

Подобные примеры тютчевских импровизаций могли бы быть умножены. Большинство рукописей Тютчева является чистовыми записями. Обычно поэт записывал стихотворение целиком сложившимся. За редкими исключениями рукописи поэта не сохранили нам следов настойчивых поисков образа и формы. Процесс рождения образа во всей своей постепенности отображен в драгоценных черновиках Пушкина. Этот процесс у Тютчева протекал как бы подсознательно и не может быть прослежен по его рукописям. «Ему кажется были одинаково незнакомы и муки и радости художественного зачатия», писал о Тютчеве Ю. Самарин.

Сказанное не означает, однако, что Тютчев не подвергал своих стихотворений никакой обработке, что стихотворение всегда удовлетворяло его таким, каким оно вылилось из-под его пера. Но исправления, вносившиеся Тютчевым в текст, клонились не к коренной переработке стихотворения, а к его отделке, подчас нелегко уловимой, шлифовке, чеканке. Сам Тютчев признавал в себе «ребячески отеческую заботливость рифмотворца об окончательном округлении своего пустозвонного безделия», «апог пугагипи» (пристрастие к мелочам). Слово «округление», пожалуй, лучше всего определяет работу Тютчева над своими стихами.

Для уяснения того, что именно Тютчев разумел под словом

«округление», не мешает вспомнить одно его письмо к П. А. Вяземскому; в письме идет речь о стихотворении Вяземского «Послание к графу Д. Н. Блудову»: «Хорошенько сообразив всё, я полагаю, что лучше будет в стихе: *И нет конца твоим стрелам* поставить так: *И счету нет твоим стрелам*, по той причине, что конец стрел может, пожалуй, означать острие стрел, и в таком случае фраза оказалась бы несколько двусмысленной».

Именно стремлением уточнить образ, избежать «двусмысленности» в словах, можно объяснить и большинство исправлений, вносившихся Тютчевым в свои собственные стихи. Иногда (правда, редко) ради устранения подобной смысловой неясности, Тютчев жертвовал эвфонией. Такова, например, поправка одного слова в стихотворении «Восток белел...»

...Она молилась,
С чела откинув покрывало, —

вместо первоначального, гораздо более благозвучного, «с кудрей».

При таком взыскательном отношении к каждому своему слову странным может показаться тот подчеркнуто пренебрежительный тон, с каким Тютчев отзывался о своих стихах. Его авторская скромность граничила с болезненным недоверием к себе самому. Он словно не сознавал настоящей цены своему творчеству. По свидетельству Фета, Тютчев весь «сжимался», когда при нем заговаривали об его поэтическом таланте.

«Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный», — писал Державин, подводя итог своей творческой деятельности. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий в ней язык», — гророчески сказал Пушкин. «Стихи мои — свидетели живые за мир пролитых слез», — так определял содержание и значение своей поэзии Некрасов. А Тютчев, посылая в 1868 году М. П. Погодину новый сборник своих стихотворений, отмахивался от них, как от чего-то ненужного, и предоставлял «руке забвенья» исправить редакционные недочеты и типографские погрешности:

Стихов моих вот список безобразный —
Не заглянув в него, дарю им вас,
Не мог склонить своей я лени праздной,
Чтобы она хоть вскользь им занялась.
В наш век стихи живут два-три мгновенья,
Родились утром, к вечеру умрут...
Так что ж тут хлопотать? Рука забвенья
Исправит все чрез несколько минут.

Поэт ошибался. Такие стихи, как стихи Тютчева, живут не «два-три мгновенья». Он забыл, что писал о нем Тургенев еще в 1854 году: «Тютчев может сказать себе, что он создал речи, которым не суждено умереть».

Время оправдало оценку, данную поэзии Тютчева Некрасовым, Тургеневым, Добролюбовым. Лев Толстой называл Тютчева своим «любимым поэтом», говорил, что «без него жить нельзя» и, перечитывая его стихи, карандашом отмечал на полях, что именно поразило его в том или ином стихотворении: глубина, красота, чувство, своеобразие. Менделеев любил твердить стихи Тютчева. Ленин пожелал иметь томик его стихотворений в своем рабочем кабинете в Совнаркоме.

Читая Тютчева, хочется воскликнуть вместе с ним: «Что это за язык — русский язык!» Тютчев умел сказать так, что кажется иначе и сказать нельзя. Он словно раз и навсегда выразил в слове наше общее впечатление, — сказал за нас. Современники Тютчева восхищались «точностью» его эпитета. И теперь, наслаждаясь погожим днем золотой осени, мы определяем его тютчевским словом «хрустальный». При виде радуги в нашей памяти мгновенно возникает тютчевское «изнемогла». Нужно обладать всей мощью таланта, конгениального Тютчеву, чтобы новое слово о радуге вытеснило из нашего сознания это неподражаемое «изнемогла». Вот набежала летняя гроза, и мы, застигнутые ею в дороге, вспоминаем тютчевские строки: «Зеленеющие нивы зеленее под грозой». Надвинулась осень, но порою, среди опустевших полей и обнаженных рощ, мы улавливаем то, что улавливал до нас Тютчев, — дыхание «теплого и сырого» ветра, напоминающего нам о весне.

Наряду с умением передать всю полноту внешнего впечатления Тютчев обладал мастерством передачи всей полноты внутреннего ощущения. И мы понимаем, почему Толстой каждой весной «невольно твердил от строчки до строчки» тютчевскую «Весну».

Тютчев «создал речи», которые вошли в нашу жизнь. Не все знают Тютчева, но все знают «Весеннюю грозу», запомнили ее со школьной скамьи. Для одних на этом и заканчивается их знакомство с Тютчевым, для других «Весенняя гроза» стачовится истоком более глубокого общения с поэтом, начальной вехой любви к нему. Зародившись вместе с любовью к родной русской природе, она, крепчая с годами, неразрывно сливается в нашем сознании с чувством благоговейного преклонения перед величием русской культуры, одним из самых благоуханных цветов которой является поэзия Тютчева.

К. Пицарев

I

Есть в осени первоначальной^в

Короткая но длинная ночь —

Весь день стоит как бы хрустальный^в

И лучезарны вечера

Есть в осени своей краса и краски ясны

Менее чем пусто вь Грозномы белы

Или падушны так же валею

Полетела на предном Горыст —

Пустыня воздуха, томишь не слышишь вост,

Но далеко еще до первого зимнего зноя —

И больше всякая и темная зима

На отдаленные дни . . .

Фотокопия с автографа Тютчева
Стихотворение «Есть в осени первоначальной...»

А. Н. М.

Нет веры к вымыслам чудесным,
Рассудок всё опустошил
И, покорив законам тесным
И воздух, и моря, и сушу,
Как пленников, их обнажил;
Ту жизнь до дна он иссушил,
Что в дерево вливала душу,
Давала тело бестелесным!..

Где вы, о древние народы!
Ваш мир был храмом всех богов,
Вы книгу Матери-природы
Читали ясно, без очков...
Нет, мы не древние народы!
Наш век, о други, не таков!

О раб ученой суеты
И скованный своей наукой!
Напрасно, критик, гонишь ты
Их златокрылые мечты;
Поверь, — сам опыт в том порукой, —
Чертог волшебный добрых фей
И в сновиденьи веселей,
Чем наяву томиться скукой
В убогой хижине твоей!..

13 декабря 1821 г.

СЛЕЗЫ

O lacrimarum fons...

*Gray*¹

Люблю, друзья, ласкать очами
Иль пурпур искрометных вин,
Или плодов, / между листьями,
Благоухающий рубин.

Люблю смотреть, когда созданья
Как бы погружены в весне,
И мир заснул в благоуханьи,
И улыбается во сне!..

Люблю, когда лицо прекрасной
Зефир лобзаньем пламенит,
То кудрей шелк взвевает сладострастный,
То в ямочки впивается ланит!

Но что все прелести Пафосския царицы,
И гроздий сок, и запах роз
Перед тобой, святой источник слез,
Роса божественной денницы!..

Небесный луч играет в них
И, преломясь о капли огневые,

¹ О источник слез... Грей.

Рисует радуги живые
На тучах жизни громовых.

И только смертного зениц
Ты, ангел слез, дотронешься крылами —
Туман рассеется слезами,
И небо серафимских лиц
Вдруг разовьется пред очами.

21 июля 1823 г.

К Н.

Твой милый взор, невинной страсти полный,
Златой рассвет небесных чувств твоих
Не мог — увы! — умилоствить их:
Он служит им укрою безмолвной.

Сии сердца, в которых правды нет,
Они, о друг, бегут, как приговора,
Твоей любви младенческого взора,
Он страшен им, как память детских лет.

Но для меня сей взор благодаянье;
Как жизни ключ, в душевной глубине
Твой взор живет и будет жить во мне;
Он нужен ей, как небо и дыханье.

Таков горе духов блаженных свет,
Лишь в небесах сияет он небесный;
В ночи греха, на дне ужасной бездны,
Сей чистый огонь, как пламень адский, жжет.

23 ноября 1824 г.

ПРОБЛЕСК

Слышал ли в сумраке глубоком
Воздушной арфы легкий звон,
Когда полночь, ненароком,
Дремавших струн встревожит сон?..

То потрясающие звуки,
То замирающие вдруг...
Как бы последний ропот муки,
В них отозвавшись, потух!

Дыханье каждое Зефира
Взрывает скорбь в ее струнах...
Ты скажешь: ангельская лира
Грустит, в пыли, по небесах!

О, как тогда с земного круга
Душой к бессмертному летим!
Минувшее, как призрак друга,
Прижать к груди своей хотим.

Как верим верою живою,
Как сердцу радостно, светло!
Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло!

Но, ах, не нам его судили...
Мы в небе скоро устаем —
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем.

Едва усилием минутным
Прервем на час волшебный сон,
И взором трепетным и смутным,
Привстав, окинем небосклон, —

И отягченную главою,
Одним лучом ослеплены,
Вновь упадаем не к покою,
Но в утомительные сны,

Середина 1820-х гг.

ВЕЧЕР

Как тихо веет над долиной
Далекий колокольный звон,
Как шум от стаи журавлиной,
И в звучных листьях замер он...

Как море вешнее в разливе,
Светлея, не колыхнет день, —
И торопливей, молчаливей
Ложится по долине тень...

1826

САСНЕ САСНЕ¹

Вот арфа ее в обычайном углу,
Гвоздики и розы стоят у окна,
Полуденный луч задремал на полу:
Условное время! Но где же она?

О, кто мне поможет шалунью сыскать,
Где, где приютилась сильфида моя?
Волшебную близость, как бы благодать,
Разлитую в воздухе, чувствую я.

Гвоздики недаром лукаво глядят,
Недаром, о розы, на ваших листах
Жарчее румянец, свежей аромат:
Я понял, кто скрылся, зарылся в цветах!

Не арфы ль твоей мне послышался звон?
В струнах ли мечтаешь укрыться златых?
Металл содрогнулся, тобой оживлен,
И сладостный трепет еще не затих.

Как пляшут пылинки в полдневных лучах,
Как искры живые в родимом огне!
Видал я сей пламень в знакомых очах,
Его упоенье известно и мне.

Влетел мотылек, и с цветка на другой,
Притворно-беспечный, он начал порхать.
О, полно кружиться, мой гость дорогой!
Могу ли, воздушный, тебя не узнать?
1826 (?)

¹ Игра в прятки (франц.).

ВИДЕНИЕ

Есть некий час в ночи всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.

Тогда густеет ночь, как хаос на водах;
Беспамятство, как Атлас, давит сушу;
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах.
1828—1829

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный —
Всё вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

1820-е гг.

БЕССОННИЦА

Часов однообразный бой —
Томительная ночи повесть!
Язык для всех равно чужой
И внятный каждому, как совесть!

Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья,
Глухие времени стенанья,
Пророчески-прощальный глас?

Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый рок настиг,
И мы, в борьбе с природой целой,
Покинуты на нас самих.

И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак, на краю земли —
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали.

И новое, младое племя
Меж тем на солнце расцвело,
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло.

Лишь изредка, обряд печальный
Свершая в полуночный час,
Металла голос погребальный
Порой оплакивает нас.

1820-е гг.

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Уж солнца раскаленный шар
С главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожар
Волна морская поглотила.

Уж звезды светлые взошли
И тяготеющий над нами
Небесный свод приподняли
Своими влажными главами.

Река воздушная полней
Течет меж небом и землею,
Грудь дышит легче и вольней,
Освобожденная от зною.

И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды...

1820-е гг.

СНЫ

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь, и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит..
Уж в пристани волшебный ожил челн.
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Тайнственно глядит из глубины, —
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Конец 1820-х и.

СОН НА МОРЕ

И море, и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
Две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне.
Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы,
Окликались ветры и пели валы.
Я в хаосе звуков лежал оглушен,
Но над хаосом звуков носился мой сон.
Болезненно-яркий, волшебном-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир —
Земля зеленела, светился эфир,
Сады-лабиринфы, чертоги, столпы,
И сонмы кипели безмолвной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
По высям творенья, как бог, я шагал,
И мир подо мною недвижимый сиял.
Но все грезы насквозь, как волшебника вой,
Мне слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалась пена ревуших валов.
Конец 1820-х гг.

УТРО В ГОРАХ

Лазурь небесная смеется,
Ночной омытая грозой,
И между гор росисто вьется
Долина светлой полосой.

Лишь высших гор до половины
Туманы покрывают скат,
Как бы воздушные руины
Волшебством созданных палат.
Конец 1820-х гг.

СНЕЖНЫЕ ГОРЫ

Уже полдневная пора
Палит отвесными лучами,
И задымилась гора
С своими черными тенями.

Едва в трепещущих листах
Перебирается прохлада,
Звонок пасущегося стада
Почти замолок на высотах.

Внизу, как зеркало стальное,
Синеют озера струи,
И с камней, блестящих на зное,
В родную глубь спешат ручьи.

И между тем, как полусонный,
Наш дольний мир, лишенный сил,
Проникнут негой благовонной,
Во мгле полдневной опочил, —

Горы, как божества родные,
Над издыхающей землей,
Играют выси ледяные
С лазурью неба огневой.

Конец 1820-х гг.

К Н. Н.

Ты любишь, ты притворствовать умеешь —
Когда, в толпе, украдкой от людей,
Моя нога касается твоей,
Ты мне ответ даешь и не краснеешь!

Всё тот же вид рассеянный, бездушный,
Движенья персей, взор, улыбка та ж...
Меж тем твой муж, сей ненавистный страж,
Любуется твоей красой послушной.

Благодаря и людям и судьбе
Ты тайным радостям узнала цену,
Узнала свет: он ставит нам в измену
Все радости... Измена льстит тебе.

Стыдливости румянец невозвратный
Он улетел с твоих молодых ланит, —
Так с юных роз Авроры луч бежит
С их чистою душою ароматной.

Но так и быть!.. в палящий летний зной
Лестней для чувств, приманчивей для взгляда
Смотреть, в тени, как в кисти винограда
Сверкает кровь сквозь зелени густой.

Конец 1820-х гг.

ПОСЛЕДНИЙ КАТАКЛИЗМ

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них.
Конец 1820-х гг.

Душа хотела б быть звездой, —
Но не тогда, как с неба полночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной, —

Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.
Конец 1820-х гг.

Ты зрел его в кругу большого света —
То своенравно-весел, то угрюм,
Рассеян, дик иль полон тайных дум, —
Таков поэт — и ты презрел поэта!

На месяц взглянь: весь день, как облак тощий,
Он в небесах едва не изнемог, —
Настала ночь — и, светозарный бог,
Сияет он над усыпленной рощей!
Конец 1820-х гг.

В толпе людей, в нескромном шуме дня,
Порой мой взор, движенья, чувства, речи
Твоей не смеют радоваться встрече, —
Душа моя! о, не вини меня!..

Смотри, как днем туманисто-бело
Чуть брезжит в небе месяц светозарный, —
Наступит ночь — и в чистое стекло
Вольет елей душистый и янтарный!

Конец 1820-х и.

Через ливонские я проезжал поля,
Вокруг меня всё было так уныло...
Бесцветный грунт небес, песчаная земля —
Всё на душу раздумье наводило.

Я вспомнил о былом печальной сей земли —
Кровавую и мрачную ту пору,
Когда сыны ее, простертые в пыли,
Лобзали рыцарскую шпору.

И, глядя на тебя, пустынная река,
И на тебя, прибрежная дуброва,
«Вы, — мыслил я, — пришли издалека,
Вы сверстники сего былова!»

Так! вам одним лишь удалось
Дойти до нас с берегов другого света.
О, если б про него хоть на один вопрос
Мог допроситься я ответа!..

Но твой, природа, мир о днях былых молчит
С улыбкою двусмысленной и тайной —
Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный,
Про них и днем молчание хранит.

1830

(Дорогой)

Песок сыпучий по колени...
Мы едем — поздно — меркнет день,
И сосен, по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.
Черней и чаще бор глубокий—
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоский
Глядит из каждого куста!

1830

(В дороге)

Здесь, где так вяло свод небесный
На землю тощую глядит, —
Здесь, погрузившись в сон железный,
Усталая природа спит...

Лишь кой-где бледные березы,
Кустарник мелкий, мох седой,
Как лихорадочные грезы,
Смущают мертвенный покой.
18.30

УСПОКОЕНИЕ

Гроза прошла — еще курясь, лежал
Высокий дуб, перунами сраженный,
И сизый дым с ветвей его бежал
По зелени, грозою освеженной.
А уж давно, звучнее и полней,
Пернатых песнь по роще раздалася,
И радуга концом дуги своей
В зеленые вершины уперлася.

1830

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть!..
Зловещий блеск и пестрота деревьев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предвестье близящихся бурь,
Порывистый и ясный ветер порою...
Ущерб, изнеможенье — и на всём
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

1830

ЛИСТЬЯ

Пусть сосны и ели
Всю зиму торчат,
В снега и метели
Закутавшись, спят.
Их тощая зелень,
Как иглы ежа,
Хоть ввек не желтеет,
Но ввек не свежа.

Мы ж, легкое племя,
Цветем и блестим,
И краткое время
На сучьях гостим.
Всё красное лето
Мы были в красе —
Играли с лучами,
Купались в росе!..

Но птички отпели,
Цветы отцвели,
Лучи побледнели,
Зефиры ушли.
Так что же нам даром
Висеть и желтеть?
Не лучше ль за ними
И нам улететь!

О буйные ветры,
Скорее, скорей!

Скорей нас сорвите
С докучных ветвей!
Сорвите, умчите,
Мы ждать не хотим...
Летите, летите!
Мы с вами летим!..

1850

MALARIA ¹

Люблю сей божий гнев! Люблю сие, незримо
Во всём разлитое, таинственное Зло —
В цветах, в источнике, прозрачном, как стекло,
И в радужных лучах, и в самом небе Рима!
Всё та ж высокая, безоблачная твердь,
Всё так же грудь твоя легко и сладко дышит,
Всё тот же тёплый ветер верхи дерев колышет.
Всё тот же запах роз... и это всё — есть Смерть!.

Как ведать, может быть, и есть в природе звуки,
Благоухания, цвета и голоса —
Предвестники для нас последнего часа
И усладители последней нашей муки.
И ими-то Судеб посланник роковой,
Когда сынов Земли из жизни вызывает,
Как тканью легкою свой образ прикрывает,
Да утаит от них приход ужасный свой!
1830*

¹ Зараженный воздух (итал.).

Сей день, я помню, для меня
Был утром жизненного дня:
Стояла молча предо мною,
Вздыхалась грудь ее волною,
Адели щеки, как заря,
Всё жарче рдея и горя...
И вдруг, как солнце молодое,
Любви признание золотое
Исторглось из груди ея...
И новый мир увидел я!
1830

ДВУМ СЕСТРАМ

Обеих вас я видел вместе —
И всю тебя узнал я в ней...
Та ж взоров тихость, нежность гласа,
Та ж прелесть утреннего часа,
Что веяла с главы твоей!..

И всё, как в зеркале волшебном,
Всё обозначилося вновь...
Минувших дней печаль и радость,
Твоя утраченная младость,
Моя погибшая любовь!..

1830

БЕЗУМИЕ

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод,
Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.

Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.

То вспрянет вдруг и, чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.

И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!..

1830

СТРАННИК

Угоден Зевсу бедный странник,
Над ним святой его покров!..
Домашних очагов изгнанник,
Он гостем стал благих богов!..

Сей дивный мир, их рук создание,
С разнообразием своим,
Лежит развитый перед ним
В утеху, пользу, назиданье...

Чрез веси, грады и поля,
Светлея, стелется дорога —
Ему отверста вся земля, —
Он видит всё — и славит Бога!..

1830

КОНЬ МОРСКОЙ

О рьяный конь, о конь морской,
С бледнозеленой гривой,
То смирный, ласково-ручной,
То бешено-игривый!
Ты буйным вихрем вскормлен был
В широком божьем поле;
Тебя он прядать научил,
Играть, скакать по воле!

Люблю тебя, когда стремглав,
В своей надменной силе,
Густую гриву растрепав,
И весь в пару и мыле,
К брегам направив бурный бег,
С веселым ржаньем мчишься,
Копыта кинешь в звонкий брег
И — в брызги разлетишься...

1830

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят...

Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»

Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.

1830

Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает,
И огонь сокрытый и глухой
Слова и строки пожирает, —

Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразьи нестерпимом...

О небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы — и погас!

1830

SILENTIUM! 1

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пусть в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!
1830

1 Молчание! (лат.).

На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом,
Воспитанный его чистейшим соком,
Развит чистейшим солнечным лучом!

С его великою душою
Созвучней всех на нем ты трепетал,
Пророчески беседовал с грозой
Иль весело с зефирами играл.

Не поздний вихрь, не бурный ливень летний
Тебя сорвал с родимого сучка:
Был многих краше, многих долголетней,
И сам собою пал, как из венка!

1832

Душа моя — элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни помыслам години буйной сей,
Ни радостям, ни горю не причастных!

Душа моя — элизиум теней,
Что общего меж жизнью и тобою?
Меж вами, призраки минувших лучших дней,
И сей бесчувственной толпою?..

1832

К ***

Уста с улыбкою приветной,
Румянец девственных ланит
И взор твой светлый, искрометный —
Всё к наслаждению манит...

Ах! Этот взор, пылая страстью,
Любовь на легких крыльях шлет,
И некою волшебной властью
Сердца в чудесный плен влечет.
Начало 1830-х и.(?)

С горы скатившись, камень лег в долине.
Как он упал? никто не знает ныне.
Сорвался ль он с вершины сам собой,
Или низвергнут мыслящей рукой?
Столетье за столетьем пронеслося:
Никто еще не разрешил вопроса!

15 января 1833 г.

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой;
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.

Не видите ль? Собравшись в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Еще она не перешла порогу,
Но дом ее уж пуст и гол стоит, —

Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь...
Но час настал, пробил... Молитесь Богу,
В последний раз вы молитесь теперь.

16 сентября 1834 г.

Из края в край, из града в град
Судьба, как вихрь, людей мятет,
И рад ли ты, или не рад,
Что нужды ей?.. Вперед, вперед!

Знакомый звук нам ветер принес:
Любови последнее прости...
За нами много, много слез,
Туман, безвестность впереди!..

«О, оглянися, о, постой,
Куда бежать, зачем бежать?..
Любовь осталась за тобой,
Где ж в мире лучшего сыскать?»

Любовь осталась за тобой,
В слезах, с отчаяньем в груди...
О, сжался над своей тоской,
Свое блаженство пощади!

Блаженство стольких, стольких дней
Себе на память приведи...
Всё милое душе твоей
Ты покидаешь на пути!..»

— Не время выкликать теней:
И так уж этот мрачен час!
Усопших образ тем страшней,
Чем в жизни был милей для нас.

Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей мятет,
И рад ли ты, или не рад,
Не спросит он... Вперед, вперед!

1834—1835

ПОЛДЕНЬ

Лениво дышит полдень мглистый,
Лениво катится река,
В лазури пламенной и чистой
Лениво тают облака...

И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф покойно дремлет..]

1-я половина 1830-х гг.

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край:
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка в дол глядит,
Стояла ты, молодая фея,
На мшистый опершись гранит,—

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.

Ты беззаботно вдаль глядела...
Край неба дымно гас в лучах;
День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.

И ты, с веселостью беспечной,
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

1-я половина 1830-х гг.

В душном воздуха молчанье,
Как предчувствие грозы —
Жарче роз благоуханье,
Резче голос стрекозы...

Чу, за белой, дымной тучей
Глухо прокатился гром...
Небо молнией летучей
Опясалось кругом...

Некий жизни преизбыток
В знойном воздухе разлит,
Как божественный напиток,
В жилах млеет и горит...

Дева, дева, что волнует
Дымку персей молодых?..
Что мутится, что тоскует
Влажный блеск очей твоих?..

Что, бледнея, замирает
Пламя девственных ланит?..
Что так грудь твою спирает
И уста твои палит?..

Сквозь ресницы шелковые
Проступили две слезы...
Иль то капли дождевые
Зачинающей грозы?..

1-я половина 1830-х гг.

Что ты клонишь над водами,
Ива, макушку всю
И дрожащими листьями,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?..

Хоть томится, хоть трепещет
Каждый лист твой над струей,
Но струя бежит и плещет,
И, на солнце нежась, блещет
И смеется над тобой...

1-я половина 1830-х г.

Вечер мгlistый и ненастный...
Чу, не жаворонка ль глас?..
Ты ли, утра гость прекрасный,
В этот поздний, мертвый час?
Гибкий, резвый, звучно-ясный,
В этот мертвый, поздний час,
Как безумья смех ужасный,
Он всю душу мне потряс!..

1-я половина 1830-х гг.

И гроб опущен уж в могилу,
И всё столпилось вокруг...
Толкутся, дышат через силу,
Спирает грудь тлетворный дух...

И над могилою раскрытой,
В возгавии, где гроб стоит,
Ученый пастор, сановитый,
Речь погребальную гласит.

Вещает брешность человечью,
Грехопадение, кровь Христа...
И умною, пристойной речью
Толпа различно занята...

А небо так нетленно-чисто,
Так беспредельно над землей...
И птицы реют голосисто
В воздушной бездне голубой...
1-я половина 1830-х гг.

Восток белел... Ладья катилась,
Ветрило весело звучало...
Как опрокинутое небо,
Под нами море трепетало...

Восток адел... Она молилась,
С чела откинув покрывало, —
Дышала на устах молитва,
Во взорах небо ликовало...

Восток вспылал... Она склонилась...
Блестящая поникла выя, —
И по младенческим ланитам
Струились капли огневые...

1-я половина 1830-х гг.

Как птичка, с раннею зарей,
Мир, пробудившись, встрепенулся...
Ах, лишь одной главы моей
Сон благодатный не коснулся...
Хоть свежесть утренняя веет
В моих вклочоченных власах,
На мне, я чую, тяготее
Вчерашний зной, вчерашний прах!..

О, как пронзительны и дики,
Как ненавистны для меня
Сей шум, движенье, говор, крики
Младого, пламенного Дня...
О, как лучи его багровы,
Как жгут они мои глаза!..
О Ночь, Ночь, где твои покровы,
Твой тихий сумрак и роса!..

Обломки старых поколений,
Вы, пережившие свой век,
Как ваших жалоб, ваших пеней
Неправый праведен утрек!..
Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью,
За новым племенем брести!..

1-я половина 1830-х гг.

Сижу задумчив и один,
На потухающий камин
Сквозь слез гляжу...
С тоскою мыслью о былом,
И слов в унынии моем
Не нахожу.

Былое — было ли когда?
Что ныне — будет ли всегда?..
Оно пройдет —
Пройдет оно, как всё прошло,
И канет в темное жерло
За годом год.

За годом год, за веком век...
Что ж негодует человек,
Сей знак земной!..
Он быстро, быстро вянет — так,
Но с новым летом новый знак
И лист иной.

И снова будет всё, что есть,
И снова розы будут цвести,
И терны тож...
Но ты, мой бедный, бледный цвет,
Тебе уж возрожденья нет,
Не расцветешь!

Ты сорван был моей рукой,
С каким блаженством и тоской,
То знает Бог..
Останься ж на груди моей,
Пока любви не замер в ней
Последний вздох.

1-я половина 1830-х гг.

Там, где горы, убегая,
В светлой тянутся дали,
Пресловутого Дуная
Льются вечные струи...

Там-то, бают, в стары годы,
По лазуревым ночам,
Фей вились хороводы
Под водой и по водам;

Месяц слушал, волны пели,
И, навесясь с гор крутых,
Замки рыцарей глядели
С сладким ужасом на них.

И лучами неземными,
Заключен и одинок,
Перемигивался с ними
С древней башни огонек.

Звезды в небе им внимали,
Проходя за строем строй,
И беседу продолжали
Тихомолком меж собой.

В панцерь дедовский закован,
Воин-сторож на стене
Слышал, тайно очарован,
Дальный гул как бы во сне.

Чуть дремотой забывался,
Гул ясенел и грохотал...
Он с молитвой просыпался
И дозор свой продолжал.

Всё прошло, всё взяли годы —
Поддался и ты судьбе,
О Дунай, — и пароходы
Нынче рыщут по тебе.

1-я половина 1830-х и.

Зима не дэром злится,
Прошла ее пора —
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

И всё засуетилось,
Всё нудит Зиму вон —
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.

Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет,
И пуще лишь шумит...

Взбесилась ведьма злая,
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя...

Весне и горя мало:
Умылася в снегу,
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.

1-я половина 1830-х гг.

Как сладко дремлет сад темнозеленый,
Объятый негой ночи голубой,
Сквозь яблони, цветами убеленной,
Как сладко светит месяц золотой!..

Таинственно, как в первый день созданья,
В бездонном небе звездный сонм горит,
Музыки дальней слышны восклицанья,
Соседний ключ слышнее говорит...

На мир дневный спустилася завеса,
Изнемогло движенье, труд уснул...
Над спящим градом, как в вершинах леса,
Проснулся чудный, еженочный гул...

Откуда он, сей гул непостижимый?..
Иль смертных дум, освобожденных сном,
Мир бестелесный, слышный, но незримый,
Теперь роится в хаосе ночном?..

1-я половина 1830-х и.

С поляны коршун поднялся,
Высоко к небу он взвился;
Всё выше, дале вьется он,
И вот ушел за небосклон.

Природа-мать ему дала
Два мощных, два живых крыла —
А я здесь в поте и в пыли,
Я, царь земли, прирос к земле!..

1-я половина 1830-х гг.

Какое дикое ущелье!
К^о мне навстречу ключ бежит —
Он в дол спешит на новоселье...
Я лезу вверх, где ель стоит.

Вот взобрался я на вершину,
С^ижу здесь радостен и тих...
Ты к людям, ключ, спешишь в долину —
Попробуй, каково у них!

1-я половина 1830-х гг.

Над виноградными холмами
Плывут золотые облака,
Внизу зелеными волнами
Шумит померкшая река, —
Взор постепенно, из долины
Подъемясь, всходит к высотам
И видит, на краю вершины,
Круглообразный светлый храм.

Там в горнем неземном жилище,
Где смертной жизни места нет,
И легче и пустынно-чище
Струя воздушная течет.
Туда взлетая, звук немеет,
Лишь жизнь природы там слышна, —
И нечто праздничное веет,
Как дней воскресных тишина.

1-я половина 1830-х гг.

Тени сизые смешались,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальный гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне и я во всём!..

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Всё залей и утиши.
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
1-я половина 1830-х и.

О чем ты воешь, ветер ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумный?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке —
И роешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!..

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться...
О, бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..
1-я половина 1830-х гг.

Поток сгустился и тускнеет,
И прячется под твердым льдом,
И гаснет цвет, и звук немеет
В оцепененьи ледяном, —
Лишь жизнь бессмертную ключа
Сковать всеильный хлад не может:
Она всё льется — и, журча,
Молчанье мертвое тревожит.

Так и в груди осиротелой,
Убитой хладом бытия,
Не льется юности веселой,
Не блещет резвая струя, —
Но подо льдистою корой
Еще есть жизнь, еще есть ропот —
И внятно слышится порой
Ключа таинственного шопот.

1-я половина 1830-х гг.

Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать-Земля!
Духов бесплотных сладострастья,
Твой верный сын, не жажду я.
Что пред тобой утеха рая,
Пора любви, пора весны,
Цветущее блаженство мая,
Румяный свет, золотые сны!..

Весь день в бездействии глубоком,
Весенний, теплый воздух пить,
На небе чистом и высоком
Порою облака следить;
Бродить без дела и без цели
И, ненароком, на лету,
Набрести на свежий дух синели
Или на светлую мечту...

1-я половина 1830-х гг.

Еще земли печален вид,
А воздух уж весной дышит,
И мертвый в поле стебель колышет,
И елей ветви шевелит.
Еще природа не проснулась,
Но сквозь редящего сна
Весну послышала она
И ей невольно улыбнулась.

Душа, душа, спала и ты...
Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?
Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь...
Или весенняя то нега?
Или то женская любовь?

1-я половина 1830-х гг.

ФОНТАН

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится,
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.

О смертной мысли водомер,
О водомер неистошимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремится, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.

1-я половина 1830-х гг.

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик, —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

.....
.....
.....

Вы зрите лист и цвет на древе:
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних, чуждых сил?..

.....
.....
.....

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, зная, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была!

И языками неземными,
Волнуя реки и леса,

В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!

Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь, глухонемой!
Души его, ах, не встревожит
И голос матери самой!..

1-я половина 1830-х гг.

Яркий снег сиял в долине —
Снег растаял и ушел;
Вешний злак блестит в долине —
Злак увянет и уйдет.

Но который век белеет
Там, на высях снеговых?
А заря и ныне сеет
Розы свежие на них!..
1-я половина 1830-х гг. (?)

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении — Творца!
И смысла нет в мольбе!

1-я половина 1830-х гг. (?)

Яркий снег сиял в долине —
Снег растаял и ушел;
Вешний злак блестит в долине —
Злак увянет и уйдет.

Но который век белеет
Там, на высях снеговых?
А заря и ныне сеет
Розы свежие на них!..
1-я половина 1830-х и. (?)

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении — Творца!
И смысла нет в мольбе!

1-я половина 1830-х и. (?)

Вдруг животрепетным сияньем
Коснувшись персей молодых,
Румяным, громким восклицаньем
Раскрыло шелк ресниц твоих.

1836(?)

1 ДЕКАБРЯ 1837

Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости —
Прости всему, чем сердце жило,
Что, жизнь твою убив, ее испепелило
В твоей измученной груди!..

Прости... Через много, много лет
Ты будешь помнить с содроганьем
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем,
Где вечный блеск и долгий цвет,
Где поздних, бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет.

1 декабря 1837.

ИТАЛЬЯНСКАЯ VILLA

И распротаясь с тревогою житейской,
И кипарисной рощей заслонясь, —
Блаженной тенью, тенью элисейской,
Она заснула в добрый час.

И вот уж века два тому иль боле,
Волшебною мечтой ограждена,
В своей цветущей опочив юдоли,
На волю неба предалась она.

Но небо здесь к земле так благосклонно!..
И много лет и теплых южных зим
Провеяло над нею полусонно,
Не тронувши ее крылом своим.

Попрежнему в углу фонтан лепечет,
Под потолком гуляет ветерок,
И ласточка влетает и щебечет...
И спит она... И сон ее глубок.

И мы вошли... всё было так спокойно,
Так всё от века мирно и темно!
Фонтан журчал... недвижимо и стройно
Соседний кипарис глядел в окно...

.....

Вдруг всё смутилось — судорожный трепет
По ветвям кипарисным пробежал, —

Фонтан замолк — и некий чудный лепет,
Как бы сквозь сон, невнятно прошептал.

Что это, друг? Иль злая жизнь недаром,
Та жизнь,—увы!—что в нас тогда текла,
Та злая жизнь, с ее мятежным жаром,
Через порог заветный перешла?

Декабрь 1837 г.

Давно ль, давно ль, о юг блаженный,
Я зрел тебя лицом к лицу —
И ты, как бог разоблаченный,
Доступен был мне, пришлецу!..
Давно ль — хотя без восхищенья,
Но новых чувств недаром полн —
И я заслушивался пенья
Великих средиземных волн!

И песнь их, как *во время оно*,
Полна гармонии была,
Когда из их родного лона
Киприда светлая всплыла...
Они всё те же и поныне,
Всё так же блещут и звучат, —
По их лазуревой равнине
Святые призраки скользят.

Но я... Я с вами распростился —
Я вновь на север увлечен...
Вновь надо мною опустился
Его свинцовый небосклон...
Здесь воздух колет... Снег обильный
На высотах и в глубине —
И холод, чародей всеильный,
Один здесь царствует вполне.

Но там, за этим царством вьюги,
Там, там, на рубеже земли,
На золотом, на светлом юге,

Еще я вижу вас вдали —
Вы блещете еще прекрасней,
Еще лазурней и свежей,
И говор ваш еще согласней
Доходит до души моей!

1837

С какою негою, с какой тоской влюбленной
Твой взор, твой страстный взор изнемогал на нем!..
Бессмысленно-нема, нема, как опаленный
Небесной молнии огнем, —

Вдруг от избытка чувств, от полноты сердечной,
Вся трепет, вся в слезах, ты повергалась ниц, —
Но скоро добрый сон, младенчески-беспечный,
Сходил на шелк твоих ресниц.

И на руки к нему глава твоя склонялась,
И матери нежней тебя лелеял он..
Стон замирал в устах, дыханье уравнилось..
И тих и сладок был твой сон.

А днесь... О, если бы тогда тебе приснилось,
Что будущность для нас обоих берегла..
Как уязвленная, ты б с воплем пробудилась,
Иль в сон иной бы перешла.

1830-е гг.

АРФА СКАЛЬДА

О арфа скальда! Долго ты спала
В тени, в пыли забытого угла;
Но лишь луны, очаровавшей мглу,
Лазурный свет блеснул в твоём углу,
Вдруг чудный звон затрепетал в струне,
Как бред души, встревоженной во сне.

Какой он жизнью на тебядохнул?
Иль старину тебе он вспомянул —
Как по ночам здесь сладострастных дев
Давно минувший вторился напев?
Иль в сих цветущих и поднесь садах
Их легких ног скользил незримый шаг?
1830-е г.

ВЕСНА

Как ни гнетет рука судьбины,
Как ни томит людей обман,
Как ни браздят чело морщины,
И сердце как ни полно ран,
Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены, —
Что устоит перед дыханьем
И первой встречею весны!

Весна — она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле;
Бессмертьем взор ее сияет
И ни морщины на челе.
Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к вам,
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подобает божествам.

Цветами сыплет над землею,
Свежа, как первая весна;
Была ль другая перед нею —
О том не ведает она.
По небу много облак бродит,
Но эти облака ея:
Она ни следу не находит
Отцветших весен бытия.

Не о былом вздыхают розы,
И соловей в ночи поет,

Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льёт,
И страх кончины неизбежной
Не свет с древа ни листа, —
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.

Игра и жертва жизни частной!
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

1830-е гг.

ДЕНЬ И НОЧЬ

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
День — сей блистательный покров —
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человек и богов!

Но меркнет день — настала ночь;
Пришла — и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна!

1830-е гг.

НЕ ВЕРЬ, НЕ ВЕРЬ ПОЭТУ!

Не верь, не верь поэту, дева!
Его своим ты не зови
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви!

Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой,
Огня палящего не скроешь
Под легкой девственной фатой.

Поэт всемогущ, как стихия,
Не властен лишь в себе самом:
Невольны кудри молодые
Он обожжет своим венцом.

Вотще поносит или хвалит
Его бессмысленный народ...
Он не змеею сердце жалит,
Но как пчела его сосет.

Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесет за облака.

1830-е гг.

ЛЕБЕДЬ

Пускай орел за облаками
Встречает молнии полет
И неподвижными очами
В себя вливает солнца свет...

Но нет завиднее удела,
О лебедь чистый, твоего —
И чистой, как ты сам, одело
Тебя стихией божество.

Она, между двойною бездной,
Лелеет твой всезрящий сон —
И полной славой тверди звездной
Ты отовсюду окружен.

1830-е и.

Живым сочувствием привета
С недостижимой высоты,
О, не смущай, молю, поэта, —
Не искушай его мечты...

Всю жизнь в толпе людей затерян,
Порой доступен их страстям,
Поэт, я знаю, суеверен,
Но редко служит он властям.

Перед кумирами земными
Проходит он, главу склонив,
Или стоит он перед ними
Смущен и гордо-боязлив...

Но если вдруг живое слово
С их уст, сорвавшись, упадет,
И сквозь величия земного
Вся прелесть женщины мелькнет,

И человеческим сознанием
Их всемогущей красоты
Вдруг озарятся, как сияньем,
Изящно-дивные черты, —

О, как в нем сердце пламенеет!
Как он восторжен, умилен!
Пускай служить он не умеет, —
Боготворить умеет он.

1840 г.

Глядел я, стоя над Невой,
Как Исаака-великана
Во мгле морозного тумана
Светился купол золотой.

Всходили робко облака
На небо зимнее, ночное,
Белела в мертвенном покое
Оледенелая река.

Я вспомнил, грустно-молчалив,
Как в тех странах, где солнце греет,
Теперь на солнце пламенеет
Роскошный Генуи залив...

О Север, Север-чародей,
Иль я тобою околдован?
Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей?

О, если б мимолетный Дух,
Во мгле вечерней тихо вея,
Меня унес скорей, скорее
Туда, туда, на теплый юг...
21 ноября 1844 г.

КОЛУМБ

Тебе, Колумб, тебе венец!
Чертеж земной ты выполнивший смело
И довершивший наконец
Судеб неконченное дело!
Ты завесу расторг всеильною рукой —
И новый мир, неведомый, неожиданный,
Из беспредельности туманной
На божий свет ты вынес за собой.

Так связан, съединен от века
Союзом кровного родства
Разумный гений человека
С живою силой естества...
Скажи заветное он слово,
И миром новым естество
Всегда откликнуться готово
На голос родственный его.
1844

Как он любил родные ели
Своей Савойи дорогой!
Как мелодически шумели
Их ветви над его главой!..
Их мрак торжественно-угрюмый
И дикий, заунывный шум
Какою сладостною думой
Его обворожали ум!..

1848

Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой —
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой...
Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...

1848

(Гроза, дорогой)

Неохотно и несмело
Солнце смотрит на поля.
Чу, за тучей прогремело,
Принахмурилась земля.

Ветра теплого порывы,
Дальний гром и дождь порой...
Зеленеющие нивы
Зеленее под грозой.

Вот пробилась из-за тучи
Синей молнии струя —
Пламень белый и летучий
Окаймил ее края.

Чаще капли дождевые,
Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые
Всё сердитей и смелей.

Солнце раз еще взглянуло
Исподлобья на поля,
И в сияньи потонула
Вся смятенная земля.

6 июня 1849 г.

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные,
Где мыслил я и чувствовал впервые
И где теперь туманными очами,
При свете вечеряющего дня,
Мой детский возраст смотрит на меня.

О бедный призрак, немощный и смутный,
Забытого, загадочного счастья!..
О, как теперь без веры и участия
Смотрю я на тебя, мой гость минутный,
Куда как чужд ты стал в моих глазах,
Как брат меньшей, умерший в пеленах...

Ах, нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем —
Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной.
Ах, и не в эту землю я сложил
Всё, чем я жил и чем я дорожил!

13 июня 1849 г.

Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...
Усыпительно-безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убеленные луной...

23 июля 1849 г.

Когда в кругу убийственных забот
Нам всё мерзит — и жизнь, как камней гряда,
Лежит на нас — вдруг, знает Бог откуда,
Нам на душу отрадное дохнет,
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно приподнимет.

Так иногда, осеннею порой,
Когда поля уж пусты, рощи голы,
Бледнее небо, пасмурнее доли,
Вдруг ветер подует, теплый и сырой,
Опавший лист погонит пред собою
И душу нам обдаст как бы весною...
22 сентября 1849 г.

По равнине вод лазурной
Шли мы верною стезей —
Огнедышащий и бурный
Уносил нас змей морской.

С неба звезды нам светили,
Снизу искрилась волна,
И метелью влажной пыли
Обдавала нас она.

Мы на палубе сидели,
Многих сон одолевал...
Всё звучней колеса пели,
Разгребая шумный вал.

Приутих наш круг веселый,
Женский говор, женский шум...
Подпирает локоть белый
Много милых, сонных дум.

Сны играют на просторе
Под магической луной,
И баюкает их море
Тихоструйною волной.

29 ноября 1849 г.

Вновь твои я вижу очи,
И один твой южный взгляд
Киммерийской грустной ночи
Вдруг рассеял сонный хлад...
Воскресает предо мною
Край иной — родимый край,
Словно прадедов виною
Для сынов погибший рай...

Лавров стройных колыханье
Зыблет воздух голубой,
Моря тихое дыханье
Провеваает летний зной,
Целый день на солнце зреет
Золотистый виноград,
Баснословной былью веет
Из-под мраморных аркад.

Сновиденьем безобразным
Скрылся север роковой,
Сводом легким и прекрасным
Светит небо надо мной.
Снова жадными очами
Свет живительный я пью
И под чистыми лучами
Край волшебный узнаю.

Конец 1840-х и.

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистошимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.

Конец 1840-х гг.

Как дымный столп светлеет в вышине!
Как тень внизу скользит неуловима!..
«Вот наша жизнь, — промолвила ты мне, —
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма...»

Конец 1840-х гг.

ПОЭЗИЯ

Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих зыбей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам —
Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре —
И на бунтующее море
Льет примирительный элей.

Конец 1840-х гг.

РИМ НОЧЬЮ

В ночи лазурной почивает Рим —
Взошла луна и овладела им,
И спящий град безлюдно-величавый
Наполнила своей безмолвной славой...

Как сладко дремлет Рим в ее лучах!
Как с ней сроднился Рима вечный прах!..
Как будто лунный мир и град почивший —
Всё тот же мир — волшебный, но отживший...
Конец 1840-х н.

Кончен пир, умолкли хоры,
Опорожнены амфоры,
Опрокинуты корзины,
Не допиты в кубках вины,
На главах венки измяты, —
Лишь курятся ароматы
В опустевшей светлой зале...
Кончив пир, мы поздно встали —
Звезды на небе сияли,
Ночь достигла половины...

Как над беспокойным градом,
Над дворцами, над домами,
Шумным уличным движеньем,
С тускло-рдяным освещеньем
И бессонными толпами, —
Как над этим дольным чадом,
В горнем выпреннем пределе,
Звезды чистые горели,
Отвечая смертным взглядам
Непорочными лучами!
Конец 1840-х и.

Еще шумел веселый день,
Толпами улица блистала,
И облаков вечерних тень
По светлым кровлям пролетала.

И доносились порой
Все звуки жизни благодатной —
И всё в один сливалось строй,
Стозвучный, шумный и невнятный.

Весенней негой утомлен,
Я впал в невольное забвенье:
Не знаю, долог ли был сон,
Но странно было пробужденье...

Затих повсюду шум и гам,
И воцарилось молчанье —
Ходили тени по стенам,
И полусонное мерцанье...

Украдкою в мое окно
Глядело бледное светило,
И мне казалось, что оно
Мою дремоту сторожило.

И мне казалось, что меня
Какой-то миротворный Гений
Из пышно-золотого Дня
Увлек, незримый, в царство теней.

Конец 1840-х гг.

Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
Льдина за льдиною плывет.

На солнце ль радужно блистая,
Иль ночью, в поздней темноте, —
Но все, неизбежимо тая,
Они плывут к одной мете.

Все вместе — малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все — безразличны, как стихия, —
Сольются с бездной роковой...

О нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое Я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?

Конец 1840-х гг.

БЛИЗНЕЦЫ

Есть близнецы — для земнородных
Два божества, — то Смерть и Сон,
Как брат с сестрою дивно сходных —
Она угрюмей, кротче он...

Но есть других два близнеца —
И в мире нет четы прекрасней,
И обаянья нет ужасней
Ей предающего сердца...

Союз их кровный, не случайный,
И только в роковые дни
Своей неразрешимой тайной
Обворожают нас они.

И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!

Конец 1840-х гг.

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отраднѣй, день любезнѣй,
Как золотой покров она свила,
Покров, накинутый над бездною.
И, как виденье, внешний мир ушел...
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощек и гол,
Лицом к лицу пред пропастью темной.

На самого себя покинут он —
Упразднен ум и мысль осиротела —
В душе своей, как в бездне, погружен
И нет извне опоры, ни предела...
И чудится давно минувшим сном
Ему теперь всё светлое, живое...
И в чуждом, неразгаданном, ночном
Он узнает наследье родовое.

1850

НА НЕВЕ

И опять звезда ныряет
В легкой зыби невских волн,
И опять любовь вверяет
Ей таинственный свой челн.

И меж зыбью и звездою
Он скользит, как бы во сне,
И два призрака с собою
Вдаль уносит по волне...

Дети ль это праздной лени
Тратят здесь досуг ночной?
Иль блаженные две тени
Покидают мир земной?

Ты, разлитая, как море,
Пышно-струйная волна,
Приюти в твоём просторе
Тайну скромного челна.

Июль 1850 г.

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по жесткой мостовой;

Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.

Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись,
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.

Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Главы его не осенит.

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по знойной мостовой.

Июль 1850 г.

Под дыханьем непогоды,
Вздувшись, потемнели воды
И подернулись свинцом,
И сквозь глянец их суровый
Вечер пасмурно-багровый
Светит радужным лучом.

Сыплет искры золотые,
Сеет розы огневые,
И уносит их поток.
Над волной темнолазурной
Вечер пламенный и бурный
Обрывает свой венок...

12 августа 1850 г.

Обвеян вещею дремотой,
Полураздетый лес грустит...
Из летних листьев разве сотый,
Блестя осенней позолотой,
Еще на ветви шелестит.

Гляжу с участием умиленным,
Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным,
С их ветхим листьем изнуренным,
Молниевидный брызнет луч.

Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для нас,
Когда, что так цвело и жило,
Теперь так немощно и хило,
В последний улыбнется раз!..

15 сентября 1850 г.

ГРАФИНЕ Р.

(В ответ на письмо)

Как под сугробом снежным лени,
Как околдованный зимой,
Каким-то сном усопшей тени
Я спал зарытый, но живой.

И вот, я чувю, надо мною,
Не наяву и не во сне,
Как бы повеяло весною,
Как бы запело о весне...

Знакомый голос, голос чудный,
То лирный звук, то женский вздох...
Но я, ленивец беспробудный,
Я вдруг откликнуться не мог...

Я спал в оковах тяжелой лени,
Под осьмимесячной зимой,
Как дремлют праведные тени
Во мгле стигийской роковой.

Но этот сон полумогильный
Как надо мной ни тяготел,
Он сам же, чародей всеильный,
Ко мне на помощь подоспел.

Приязни давней выраженья
Он для меня их уловил
И в музыкальные виденья
Знакомый голос воплотил...

Вот вижу я, как бы сквозь дымки,
Волшебный сад, волшебный дом...
И в замке феи-нелюдимки
Вдруг очутились мы вдвоем.

Вдвоем! — И песнь ее звучала,
И от заветного крыльца
Гнала и буйного нахала,
Гнала и пошлого льстеца.

1850

Не рассуждай, не хлопочи!..
Безумство ищет, глупость судит;
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет.

Живя, умей всё пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
Чего желать? О чем тужить?
День пережит — и слава Богу!
1859

ДВА ГОЛОСА

I

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне.

Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги,
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.

II

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.

Пускай Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

1850

Как ни дышит полдень знойный
В растворенное окно, —
В этой храмине спокойной,
Где всё тихо и темно,

Где живые благовонья
Бродят в сумрачной тени,
В сладкий сумрак полусонья
Погрузись и отдохни.

Здесь фонтан неутомимый
День и ночь поет в углу
И кропит росой незримой
Очарованную мглу.

И в мерцаньи полусвета,
Тайной страстью занята,
Здесь влюбленного поэта
Веет легкая мечта.

1850

(Дорогой)

Не остывшая от зною,
Ночь июльская блистала...
И над тусклою землею
Небо, полное грозою,
Всё в зарницах трепетало.

Словно тяжкие ресницы
Подыгались над землею,
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загорались порою...

14 июля 1850 (или 1851 г.)

Как весел грохот летних бурь,
Когда, взметая прах летучий,
Гроза, нахлынувшая тучей,
Смутит небесную лазурь
И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набезит —
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно!..

Как под незримою пятой
Лесные гнутся исполины,
Тревожно ропщут их вершины,
Как совещаюсь меж собой, —
И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышен птичий свист,
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу...
1850—1851

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепости страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел, спроси и сведай,
Что уцелело от нея?

Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Всё опалили, выжгли слезы
Горячей влагою своей.

Ты помнишь ли, при вашей встрече,
При первой встрече роковой,
Ее волшебны взоры, речи
И смех младенчески-живой?

И что ж теперь? И где ж всё это?
И долговечен ли был сон?
Увы, как северное лето,
Был мимолетным гостем он.

Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!

Жизнь отречения, жизнь страданья!
В ее душевной глубине
Ей оставались воспоминанья,
Но изменили и оне...

И на земле ей дико стало,
Очарование ушло...
Толпа, нахлынув, в грязь втоптала
То, что в душе ее цвело...

И что ж от долгого мученья,
Как пепл, сберечь ей удалось?
Боль злую, боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!

О, как убийственно мы любим!
Как в буйной слепости страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!..

1850—1851

ПЕРВЫЙ ЛИСТ

Лист зеленеет молодой.
Смотри, как лиетъем молодым
Стоят обвеяны березы,
Воздушной зеленью сквозной,
Пслупрозрачною, как дым...

Давно им грезилось весной,
Весной и летом золотым;
И вот живые эти грезы,
Под первым небом голубым,
Пробились вдруг на свет дневной...

О, первых листьев красота,
Омытых в солнечных лучах,
С новорожденною их тенью!
И слышно нам по их движенью,
Что в этих тысячах и тьмах
Не встретишь мертвого листа...

Май 1851 г.

НАШ ВЕК

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он
И жаждет веры... но о ней не просит.

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»
3¹ июня 1851 г.

ВОЛНА И ДУМА

Дума за думой, волна за волной —
Два проявленья стихии одной!
В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,
Здесь — в заключении, там — на просторе:
Тот же всё вечный прибой и отбой,
Тот же всё призрак тревожно-пустой!
14 июля 1851 г.

В разлуке есть высокое значенье —
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль будет пробужденье,
А должен, наконец, проснуться человек.

6 августа 1851 г.

День вечереет, ночь близка,
Длинней с горы ложится тень,
На небе гаснут облака...
Уж поздно. Вечереет день.

Но мне не страшен мрак ночной,
Не жаль скудеющего дня,
Лишь ты, волшебный призрак мой,
Лишь ты не покидай меня!..

Крылом своим меня одень,
Волненья сердца утиши,
И благодатна будет тень
Для очарованной души.

Кто ты? Откуда? Как решить,
Небесный ты или земной?
Воздушный житель, может быть,
Но с страстной женскою душой.

1 ноября 1851 г.

Недаром милосердным Богом
Пугливой птичка создана —
Спасенья верного залогом
Ей робость чуткая дана.

И нет для бедной птишки проку
В свойстве с людьми, с семьей людской...
Чем ближе к ним, тем ближе к Року —
Не сдобровать под их рукой...

Вот птичку девушка вскормила
От первых перышек, с гнезда,
Взлелеяла ее, вырастила,
И не жалела, не щадила
Для ней ни ласки, ни труда.

Но как, с любовью тревожной,
Ты, дева, не пеклась о ней,
Наступит день, день непреложный —
Питомец твой неосторожный
Погибнет от руки твоей...

1851

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной,
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изнает наконец...

1851

Не знаю я, коснется ль Благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?

Но если бы душа могла
Здесь, на земле, найти успокоенье,
Мне Благодатью ты б была —
Ты, ты, мое земное Провиденье!..

1851

Не говори: меня он, как и прежде, любит,
Мной, как и прежде, дорожит...
О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит,
Хоть, вижу, нож в руке его дрожит.

То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя,
Увлечена, в душе уязвлена,
Я стражду, не живу... им, им одним живу я —
Но эта жизнь!.. о, как горька она!

Он мерит воздух мне так бережно и скудно...
Не мерят так и лютому врагу...
Ох, я дышу еще болезненно и трудно,
Могу дышать, но жить уж не могу.
1851—1852

О, не тревожь меня укорой справедливой!
Поверь, из нас из двух завидней часть твоя:
Ты любишь искренно и пламенно, а я —
Я на тебя гляжу с досадою ревнивой.

И, жалкий чародей, перед волшебным миром,
Мной созданным самим, без веры я стою —
И самого себя, краснея, узнаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.

1851—1852

Чему молилась ты с любовью,
Что как святыню берегла,
Судьба людскому суесловью
На поруганье предала

Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей,
И ты невольно устыдилась
И тайн, и жертв, доступных ей.

Ах, когда б живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!
1851—1852

Я очи знал, — о эти очи!
Как я любил их, знает Бог!
От их волшебной, страстной ночи
Я душу оторвать не мог.

В непостижимом этом взоре,
Жизнь обнажающем до дна,
Такое слышалось горе,
Такая страсти глубина!

Дышал он грустный, углубленный
В тени ресниц ее густой,
Как наслажденье, утомленный
И, как страданье, роковой.

И в эти чудные мгновенья
Ни разу мне не довелось
С ним повстречаться без волненья
И любоваться им без слез.

1851—1852

*Mobile comme l'onde*¹

Ты, волна моя морская,
Своеравная волна,
Как, покоясь иль играя,
Чудной жизни ты полна!

Ты на солнце ли смеешься,
Отражая неба свод,
Иль мятешься ты и бьешься
В одичалой бездне вод, —

Сладок мне твой тихий шопот,
Полный ласки и любви;
Внятен мне и буйный ропот,
Стоны вещице твои.

Будь же ты в стихии бурной
То угрюма, то светла,
Но в ночи твоей лазурной
Сбереги, что ты взяла.

Не кольцо, как дар заветный,
В зыбь твою я опустил,
И не камень самоцветный
Я в тебе похоронил.

¹ Непостоянная, как волна.

Нет, в минуту роковую,
Тайной прелестью влеком,
Душу, душу я живую
Схоронил на дне твоём.
Апрель 1852 г.

ПАМЯТИ В. А. ЖУКОВСКОГО

Я видел вечер твой. Он был прекрасен!
В последний раз прощаясь с тобой,
Я любовался им: и тих и ясен,
И весь насквозь проникнут теплотой...
О, как они и грели и сияли —
Твои, поэт, прощальные лучи...
А между тем заметно выступали
Уж звезды первые в его ночи...

В нем не было ни лжи, ни раздвоенья —
Он всё в себе мирил и совмещал.
С каким радушием благоволенья
Он были мне Омировы читал...
Цветущие и радужные были
Младенческих первоначальных лет!
А звезды между тем на них сводили
Таинственный и сумрачный свой свет...

Поистине, как голубь чист и цел
Он духом был, хоть мудрости зминой
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто-голубиный.
И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел...

И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,

Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
Он завещал взволнованному миру...
Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказало Божество:
«Лишь сердцем чистые — те узрят Бога!»
Конец июня 1852 г.

Сияет солнце, воды блещут,
На всем улыбка, жизнь во всем,
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в небе голубом.

Поют деревья, блещут воды,
Любовью воздух растворен,
И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоен.

Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей...

23 июля 1852 г.

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован,
Не мертвец и не живой —
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...

Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой —
В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.

31 декабря 1852 г.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,
Лишь там на западе бродит сиянье, —
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.
1853

ЛЕТО 1854

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство —
И как, прошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего?..

Гляжу тревожными глазами
На этот блеск, на этот свет...
Не издеваются ль над нами?
Откуда нам такой привет?

Увы, не так ли молодая
Улыбка женских уст и глаз,
Не восхищая, не прельщая,
Под старость лишь смущает нас!..
Август 1854 г.

Увы, что нашего незнанья
И беспомощней и грустней?
Кто смеет молвить: *до свиданья!*
Через бездну двух или трех дней?
11 сентября 1854 г.

Пламя рдеет, пламя пышет,
Искры брызжут и летят,
А на них прохладой дышит
Из-за речки темный сад.
Сумрак тут, там жар и крики —
Я брожу как бы во сне —
Лишь одно я живо чую:
Ты со мной и вся во мне.

Треск за треском, дым за дымом,
Трубы голые торчат,
А в покое нерушимом
Листья веют и шуршат.
Я, дыханьем их обвеян,
Страстный говор твой ловлю...
Слава Богу, я с тобою,
А с тобой мне, как в раю.
10 июля 1855 г.

Так в жизни есть мгновения —
Их трудно передать,
Они самозабвения
Земного благодать.
Шумят верхи древесные
Высоко надо мной,
И птицы лишь небесные
Беседуют со мной.
Всё пошлое и ложное
Ушло так далеко,
Всё мило-невозможное
Так близко и легко.
И любо мне, и сладко мне,
И мир в моей груди,
Дремотою обвеян я —
О время, погоди!
1855

О, вещая душа моя!
О, сердце полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Так, ты жилица двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов...

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые,
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.
1855

Н. Ф. ЩЕРБИНЕ

Вполне понятно мне значенье
Твоей болезненной мечты,
Твоя борьба, твоё стремленье,
Твоё тревожное служенье
Пред идеалом красоты...

Так узник эллинский, порою
Забывшись сном среди степей,
Под скифской вьюгой снеговой
Свободой бредил золотою
И небом Греции своей.

4 февраля 1857 г.

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора—
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё — простор везде,
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

22 августа 1857 г.

Смотри, как роща зеленеет,
Палящим солнцем облита,
А в ней какую негой веет
От каждой ветки и листа!

Войдем и сядем над корнями
Дерев, поймы́х родником,
Там, где, обвеянный их мглами,
Он шепчет в сумраке немом.

Над нами бредят их вершины,
В полдневный зной погружены,
И лишь порою крик орлиный
До нас доходит с вышины...

Август 1857 г.

В часы, когда бывает
Так тяжело на груди,
И сердце изнывает,
И тьма лишь впереди;

Без сил и без движенья,
Мы так удручены,
Что даже утешенья
Друзей нам не смешны, —

Вдруг солнца луч приветный
Войдет украдкой к нам
И брызнет огнецветной
Струюю по стенам;

И с тверди благосклонной,
С лазуревых высот
Вдруг воздух благовонный
В окно на нас пахнет...

Уроков и советов
Они нам не несут,
И от судьбы наветов
Они нас не спасут.

Но силу их мы чуем,
Их слышим благодать,
И меньше мы тоскуем,
И легче нам дышать...

Так мило-благодатна,
Воздушна и светла,
Душе моей стократно
Любовь твоя была.

Начало 1858 г.

Она сидела на полу
И грудю писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...

О, сколько жизни было тут,
Невозвратно пережитой,
О, сколько горестных минут,
Любви и радости убитой!..

Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени, —
И страшно-грустно стало мне,
Как от присущей милой тени.
Начало 1858 г.

Осенней позднею порою
Люблю я царскосельский сад,
Когда он тихой полумглою
Как бы дремотою объят.
И белокрылые виденья,
На тусклом озера стекле,
В какой-то неге онеменья
Коснеют в этой полумгле...

И на порфирные ступени
Екатерининских дворцов
Ложатся сумрачные тени
Октябрьских ранних вечеров.
И сад темнеет, как дуброва,
И при звездах из тьмы ночной,
Как отблеск славного былого,
Выходит купол золотой.

22 октября 1858 г.

НА ВОЗВРАТНОМ ПУТИ

I

Грустный вид и грустный час —
Дальний путь торопит нас...
Вот, как призрак гробовой,
Месяц встал — и из тумана
Осветил безлюдный край...
Путь далек — не унывай...

Ах, и в этот самый час,
Там, где нет теперь уж нас,
Тот же месяц, но живой,
Дышит в зеркале Лемана...
Чудный вид и чудный край —
Путь далек — не вспоминай...

II

Родной ландшафт... Под дымчатым навесом
Огромной тучи снеговой
Синеет даль — с ее угрюмым лесом,
Окутанным осенней мглой...
Всё голо так — и пусто-необъятно
В однообразии немом...
Местами лишь просвечивают пятна
Стоячих вод, покрытых первым льдом.

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —
Жизнь отошла — и, покорясь судьбе,

В каком-то забытьи изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе.

Как свет дневной, его тускнеют взоры,
Не верит он, хоть видел их вчера,
Что есть края, где радужные горы
В лазурные глядятся озера...

Конец октября 1859 г.

ДЕКАБРЬСКОЕ УТРО

На небе месяц — и ночная
Еще не тронулася тень,
Царит себе, не сознавая,
Что вот уж вострепенулся день, --

Что хоть лениво и несмело
Луч возникает за лучом,
А небо так еще всецело
Ночным сияет торжеством...

Но не пройдет двух-трех мгновений,
Ночь испарится над землей
И в полном блеске проявлений
Вдруг нас охватит мир дневной.
Декабрь 1859 г.

Е. Н. АННЕНКОВОЙ

И в нашей жизни повседневной
Бывают радужные сны,
В край незнакомый, в мир волшебный,
И чуждый нам и задушевный,
Мы ими вдруг увлечены.

Мы видим: с голубого свода
Нездешним светом веет нам,
Другую видим мы природу,
И без заката, без восходу
Другое солнце светит там...

Всё лучше там, светлее, шире,
Так от земного далеко...
Так разнo с тем, что в нашем мире,
И в чистом пламенном эфире
Душе так родственно-легко.

Проснулись мы, — конец виденью,
Его ничем не удержать,
И тусклой, неподвижной тенью,
Вновь обреченных заключенью,
Жизнь обхватила нас опять.

Но долго звук неуловимый
Звучит над нами в вышине,
И пред душой, тоской томимой,
Всё тот же взор неотразимый,
Всё та ж улыбка, что во сне.

1859

Хоть я и свил гнездо в долине,
Но чувствую порой и я,
Как животворно на вершине
Бежит воздушная струя,
Как рвется из густого слоя,
Как жаждет горних наша грудь,
Как всё удушливо-земное
Она хотела б оттолкнуть...

На недоступные громады
Смотрю по целым я часам —
Какие росы и пролады
Оттуда с шумом льются к нам!
Вдруг просветлеют огнецветно
Их непорочные снега:
По ним проходит незаметно
Небесных ангелов нога...

10 октября 1860 г (?)

Играй, покуда над тобою
Еще безоблачна лазурь,
Играй с людьми, играй с судьбою,
Ты жизнь, уж призванная к бою,
Ты сердце, жаждущее бурь...

Как часто, грустными мечтами
Томимый, на тебя гляжу,
И взор туманится слезами...
Зачем? Что общего меж нами?
Ты жить идешь — я уйду...

Я слышал утренние грезы
И первый, милый лепет дня —
Но поздние, живые грозы,
Но взрыв страстей, но страсти слезы,
Нет, это всё не для меня...

Но, может быть, в разгаре лета
Вдохнешь ты по своей весне,
И вспомнишь и про время это,
Как про забытый до рассвета
Мелькнувший призрак в первом сне.

25 июля 1861 г.

ПРИ ПОСЫЛКЕ НОВОГО ЗАВЕТА

Не легкий жребий, не отрадный
Был вынут для тебя судьбой,
И рано с жизнью беспощадной
Вступила ты в неравный бой.

Ты билась с мужеством немногих,
И в этом роковом бою
Из испытаний самых строгих
Всю душу вынесла свою.

Нет, жизнь тебя не победила,
И ты в отчаянной борьбе
Ни разу, друг, не изменила
Ни правде сердца, ни себе...

Но скудны все земные силы:
Рассвирепеет жизни зло —
И нам, как на краю могилы,
Вдруг станет страшно тяжело.

Вот в эти-то часы с любовью
О книге сей ты вспомяни
И всей душой, как к изголовью,
К ней припади — и отдохни.

1861

А. А. ФЕТУ

Тебе сердечный мой поклон
И мой, каков ни есть, портрет, —
И пусть, сочувственный поэт,
Тебе, хоть молча, скажет он,
Как дорог был мне твой привет,
Как им в душе я умилен.

Иным достался от природы
Инстинкт пророчески слепой:
Они им чувствуют, слышат воды
И в темной глубине земной...

Великой матерью любимый,
Стократ завидней твой удел:
Не раз под оболочкой зримой
Ты самое ее узрел...

1861

Н. И. КРОЛЮ

Сентябрь холодный бушевал,
С деревьев ржавый лист валился,
День потухающий дымился,
Сходила ночь, туман вставал.

И всё для сердца и для глаз
Так было холодно-бесцветно,
Так было грустно-безответно, —
Но чья-то песнь вдруг раздалась...

И вот, каким-то обаяньем,
Туман, свернувшись, улетел;
Небесный свод поголубел
И вновь подернулся сияньем...

И всё опять зазеленело,
Всё обратилось к весне...
И эта греза снилась мне,
Пока мне птичка ваша пела.
Сентябрь 1853 г.

Н. С. АКИНФИЕВОЙ

Как летней иногда порою
Вдруг птичка в комнату влетит,
И жизнь и свет внесет с собою,
Всё огласит и озарит;

Весь мир, цветущий мир природы,
В наш угол вносит за собой —
Зеленый лес, живые воды
И отблеск неба голубой, —

Так мимолетной и воздушной
Явилась гостьей к нам она,
В наш мир и чопорный и душный,
И пробудила всех от сна.

Ее присутствием согрета,
Жизнь встрепенулася живей,
И даже питерское лето
Чуть не оттаяло при ней.

При ней и старость молодеда,
И опыт стал учеником,
Она вертела, как хотела,
Дипломатическим клубком.

И самый дом наш будто ожил,
Ее жилищею избрав,

И нас уж менее тревожил
Неугомонный телеграф...

Но кратки все очарованья,
Им не дано у нас гостить,
И вот сошлись мы — для прощанья, —
Но долго, долго не забыть

Нежданно-милых впечатлений,
Те ямки розовых ланит,
Ту негу стройную движений
И стан, оправленный в магнит,

Радужный смех и звучный голос,
Полулукавый свет очей,
И этот длинный тонкий волос,
Едва доступный пальцам фей.

1863

Как ни бесилося злоречье,
Как ни трудилось над ней,
Но этих глаз чистосердечье —
Оно всех демонов сильней.

Всё в ней так искренно и мило,
Так все движенья хороши;
Ничто лазури не смутило
Ее безоблачной души.

К ней и пылинка не пристала
От глупых сплетней, злых речей;
И даже клевета не смяла
Воздушный шелк ее кудрей.

1853

Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали,
Лил теплый летний дождь — его струи
По листьям весело звучали.

И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена в сознательную думу...

И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
«О как всё это я любила!»

* * * * *
Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому ещё не удавалось!
О Господи!.. и это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось...
Август-декабрь 1864 г.

Утихла биза... Легче дышит
Лазурный сонм женевских вод,
И лодка вновь по ним плавает,
И снова лебедь их колышет.

Весь день, как летом, солнце греет,
Деревья блещут пестротой,
И воздух ласковой волной
Их пышность ветхую лелеет.

А там, в торжественном покое,
Разоблаченная с утра,
Сияет Белая Гора,
Как откровенье неземное.

Здесь сердце так бы всё забыло,
Забыло б муку всю свою,
Когда бы там — в родном краю —
Одной могилой меньше было...

11 октября 1864 г.

Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней,
Мы смотрим с трепетом тревожным
На тихий свет ее очей.

Земное ль в ней очарованье,
Иль неземная благодать?
Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвется обожать...

3 ноября 1864 г.

О, этот юг! о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...
Нет ни полета, ни размаху:
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...
Ноябрь—декабрь 1864 г.

Как хорошо ты, о море ночное —
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...

На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром...
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдьи ночном!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты.

В этом волнении, в этом сиянии,
Весь как во сне, я потерян стою —
О, как охотно бы в их обаянии
Всю потопил бы я душу свою...

2 января 1865 г.

Когда на то нет божьего согласия,
Как ни страдай она, любя, —
Душа, увы, не выстрадает счастья,
Но может выстрадать себя...

Душа, душа, которая всецело
Одной заветной отдалась любви
И ей одной дышала и болела,
Господь тебя благослови.

Он милосердный, всемогущий,
Он греющий своим лучом
И пышный цвет, на воздухе цветущий,
И чистый перл на дне морском.

11 января 1865 г.

Есть и в моем страдальческом застое
Часы и дни ужаснее других...
Их тяжкий гнет, их бремя 'роковое
Не выскажет, не выдержит мой стих.

Вдруг всё замрет. Слезам и умиленью
Нет доступа, всё пусто и темно,
Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно.

Ах, и над ним в действительности ясной,
Но без любви, без солнечных лучей,
Такой же мир бездушный и бесстрастный,
Не знающий, не помнящий о ней.

И я один с моей тупой тоскою,
Хочу сознать себя и не могу —
Разбитый челн, брошенный волною,
На безымянном диком берегу.

О Господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей;
Ты взял ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней, —

По ней, по ней, свой подвиг совершившей
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям и судьбе;

По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить,
По ней, по ней, так до конца умевшей
Страдать, молиться, верить и любить.

1865

*Est in arundineis modulatio musica ripis*¹

Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах.

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, —
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

И от земли до крайних звезд
Всё безответен и поныне
Глас вопиющего в пустыне,
Души отчаянной протест?

11 мая 1865 г.

¹ Есть музыкальная стройность в прибрежных тростниках (лат.)

ДРУГУ МОЕМУ Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Нет боле искр живых на голос твой приветный —
Во мне глухая ночь и нет для ней утра...
И скоро улетит — во мраке незаметный —
Последний, скудный дым с потухшего костра.

30 мая 1865 г.

15 ИЮЛЯ 1865 г.

Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.

И вот уж год, без жалоб, без упреку,
Утратив всё, приветствую судьбу...
Быть до конца так страшно одиноку,
Как буду одинок в своем гробу.

15 июля 1865 г.

НАКАНУНЕ ГОДОВЩИНЫ
4 АВГУСТА 1864 г.

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Всё темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

3 августа 1865 г.

Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла —
Она полнеба обхватила,
И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его — лови скорей!
Смотри, оно уж побледнело, —
Еще минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живешь.
5 августа 1865 г.

Ночное небо так утрюмо,
Заволокло со всех сторон.
То не угроза и не дума,
То вялый, безотраднѣй сон.
Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.

Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса.
И вот опять всё потемнело,
Всё стихло в чуткой темноте —
Как бы таинственное дело
Решалось там — на высоте.

18 августа 1865 г.

Нет дня, чтобы душа не ныла,
Не изнывала б о былом,
Искала слов, не находила,
И сохла, сохла с каждым днем, —

Как тот, кто жгучею тоскою
Томился по краю родном
И вдруг узнал бы, что волною
Он схоронен на дне морском.
23 ноября 1865 г.

Тихо в озере струится
Отблеск кровель золотых,
Много в озеро глядится
Достопавностей бывах.
Жизнь играет, солнце греет,
Но под нею и под ним
Здесь бывое чудно веет
Обаянием своим.

Солнце светит золотое,
Блещут озера струи...
Здесь великое бывое
Словно дышит в забвении;
Дремлет сладко, беззаботно,
Не смущая дивных снов
И тревогой мимоветной
Лебединых голосов...

Июль 1866 г.

Как ни тяжел последний час —
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья, —
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья.

14 октября 1867 г.

Опять стою я над Невой,
И снова, как в былые годы,
Смотрю и я, как бы живой,
На эти дремлющие воды.

Нет искр в небесной синеве,
Всё стихло в бледном обаянье,
Лишь по задумчивой Неве
Струится лунное сиянье.

Во сне ль всё это снится мне,
Или гляжу я в самом деле,
На что при этой же луне
С тобой, живые, мы глядели?

Июнь 1868 г.

ПОЖАРЫ

Широко, необозримо,
Грозной тучею сплошной,
Дым за дымом, бездна дыма
Тяготее над землей.

Мертвый стелется кустарник,
Травы тлятся, не горят,
И сквозит на крае неба
Обожженных елей ряд.

На пожарище печальном
Нет ни искры, дым один:
Где ж огонь, злой истребитель,
Полномочный властелин?

Лишь украдкой, лишь местами,
Словно красный зверь какой,
Пробираясь меж кустами,
Пробежит огонь живой!

Но когда наступит сумрак,
Дым сольется с темнотою,
Он потешными огнями
Весь осветит лагерь свой.

Пред стихийной вражьей силой
Молча, руки опустя,
Человек стоит уныло, —
Беспомощное дитя.

16 июля 1868 г.

В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное...

Час от часу жар сильней,
Тень ушла к немym дубровам,
И с белеющих полей
Веет запахом медовым.

Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река,
И поля дышать на зное.
2 августа 1868 г.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...
27 февраля 1869 г.

Две силы есть — две роковые силы,
Всю жизнь свою у них мы под рукой,
От колыбельных дней и до могилы, —
Одна есть смерть, другая — суд людской.

И та и тот равно неотразимы
И безответственны и тот и та,
Пощады нет, протесты нетерпимы,
Их приговор смыкает всем уста...

Но смерть честней — чужда лицепрятью,
Не тронута ничем, не смущена,
Смирненную иль ропщущую братью,
Своей косою равняет всех она.

Свет не таков: борьбы, разноголосья
Ревнивый властелин — не терпит он,
Не косит сплошь, но лучшие колосья
Нередко с корнем вырывает вон.

И горе ей — увы, двойное горе,
Той гордой силе, гордо-молодой,
Вступающей с решимостью во взоре,
С улыбкой на устах — в неравный бой.

Когда она, при роковом сознании
Всех прав своих, с отвагой красоты,
Бестрепетно, в каком-то обаянии
Идет сама навстречу клеветы,

Личиною чела не прикрывает,
И не дает принизиться челу,
И с кудрей молодых, как пыль, свевает
Угрозы, брань и страстную хулу, —

Да, горе ей — и чем простосердечней,
Тем кажется виновнее она...
Таков уж свет: он там бесчеловечней,
Где человечно-искренней вина.

Март 1869 г.

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
Август 1869 г.

Ю. Ф. АБАЗЕ

Так — гармонических орудий
Власть беспредельна над душой,
И любят все живые люди
Язык их темный, но родной.

В них что-то стонет, что-то бьется,
Как в узах заключенный дух,
На волю просится и рвется
И хочет высказаться вслух...

Не то совсем при вашем пенье,
Не то мы чувствуем в себе:
Тут полнота освобожденья,
Конец и плену и борьбе...

Из тяжелой вырвавшись юдоли
И все оковы разреша,
На всей своей ликует воле
Освобожденная душа...

По всемогущему призыву
Свет отделяется от тьмы,
И мы не звуки — *душу живу*,
В них вашу душу слышим мы.
22 декабря 1869 г.

Как нас ни угнетай разлука,
Не покоряемся мы ей —
Для сердца есть другая мука,
Невыносимей и больней.

Пора разлуки миновала,
И от нее, в руках у нас,
Одно осталось покрывало,
Полупрозрачное для глаз.

И знаем мы: под этой дымкой
Всё то, по чем душа болит,
Какой-то странной невидимкой
От нас таится — и молчит.

Где цель подобных искушений?
Душа невольно смущена,
И в колесе недоумений
Вертится нехотя она.

Пора разлуки миновала,
И мы не смеем, в добрый час,
Задеть и сдернуть покрывало,
Столь ненавистное для нас!

Конец 1860-х гг.

К. Б.

Я встретил вас — и всё былое
В отжившем сердце ожило,
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...

Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас, —

Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...

Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне,
И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..
26 июля 1870 г.

А. В. ПЛ — ВОИ

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескучеюшая сила,
Есть и нетленная краса.

И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.

И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живет,
Не всё, что здесь цвело, увянет,
Не всё, что было здесь, пройдет!

Но этой веры для немногих
Лишь тем доступна благодать,
Кто в искушеньях жизни строгих,
Как вы, умел, любя, страдать, —

Чужие врачевать недуги
Своим страданием умел,
Кто душу положил за други
И до конца всё претерпел.

1870

Брат, столько лет сопутствовавший мне,
И ты ушел, куда мы все идем,
И я теперь на голой вышине
Стою один, — и пусто всё кругом.

И долго ли стоять тут одному?
День, год другой, — и пусто будет там,
Где я теперь, смотря в ночную тьму
И что со мной, не сознавая сам...

Бесследно всё, и так легко не быть!
При мне иль без меня — что нужды в том? —
Всё будет то ж — и вьюга так же выть,
И тот же мрак, и та же степь кругом.

Дни сочтены, утрат не перечесть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.

11 декабря 1870 г.

От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас,
Два-три кургана, видимых поднесь...

Да два-три дуба выросли на них,
Раскинувшись и широко и смело.
Красуются, шумят, — и нет им дела,
Чей прах, чью память роют корни их.

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих лишь грезю природы.

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.
17 августа 1871 г.

III

К ОДЕ ПУШКИНА НА ВОЛЬНОСТЬ

Огнем свободы пламенея
И заглушая звук цепей,
Проснулся в лире дух Алцея, —
И рабства пыль слетела с ней.
От лиры искры побежали
И вседряющею струей,
Как пламень божий, ниспадали
На чела бледные царей.

Счастлив, кто гласом твердым, смелым,
Забыв их сан, забыв их трон,
Вещать тиранам закоснелым
Святые истины рожден!
И ты великим сим уделом,
О муз питомец, награжден!

Воспой и силой сладкогласья
Разнежь, растрогай, преврати
Друзей холодных самовластья
В друзей добра и красоты!
Но граждан не смущай покою
И блеска не мрачи венца,
Певец! Под царскою парчею
Своей волшебною струною
Смягчай, а не тревожь сердца!

1820

ОЛЕГОВ ЩИТ

Молитва магометан

«Аллах! пролей на нас твой свет!
Краса и сила правоверных,
Гроза гяуров лицемерных!
Пророк твой — Магомет!..»

Молитва славян

«О наша крепость и оплот!
Великий Бог, веди нас ныне,
Как некогда ты вел в пустыне
Свой избранный народ!..»

Глухая полночь. Всё молчит!
Вдруг... Из-за туч луна блеснула
И над воротами Стамбула
Олегов озарила щит.

1828—1829

МОГИЛА НАПОЛЕОНА

Душой весны природа ожила,
И блещет всё в торжественном покое:
Лазурь небес, и море голубое,
И дивная гробница, и скала!
Древа кругом покрылись новым цветом,
И тени их, среди общей тишины,
Чуть зыблются дыханием волны
На мраморе, весною разогретом...

Давно ль умолк Перун его побед,
И гул от них стоит доселе в мире...

.
.

И ум людей великой тенью полн,
А тень его, одна, на бреге диком,
Чужда всему, внимает шуму волн
И тешится морских пернатых криком.

1820-е гг.

ЦИЦЕРОН

Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»
Так! Но, прощаясь с римской славой,
С Капитолийской высоты,
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавой!..

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир:
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был,
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!
1830

АЛЬПЫ

Сквозь лазурный сумрак ночи
Альпы снежные глядят —
Помертвелые их очи
Льдистым ужасом разят.
Властью некой обаянны,
До восшествия Зари,
Дремлют, грозны и туманны,
Словно падшие цари!..

Но Восток лишь заалееет,
Чарам гибельным конец —
Первый, в небе, просветлеет
Брата старшего венец.
И с главы большого брата
На меньших бежит струя,
И блеснит в венцах из золота
Вся воскресшая семья!..

1830

Как дочь родную на закланье
Агамемнон богам принес,
Прося попутных бурь дыханья
У негодующих небес, —
Так мы над горестной Варшавой
Удар свершили роковой,
Да купим сей ценой кровавой
России целость и покой!

Но прочь от нас венец бесславья,
Сплетенный рабскою рукой!
Не за коран самодержавья
Кровь русская лилась рекой!
Нет! нас одушевляло в бое
Не чревобесие меча,
Не зверство янычар ручное
И не покорность палача!

Другая мысль, другая вера
У русских билася в груди:
Грозой спасительной примера
Державы целость соблюсти,
Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленных, как рать.

Сие-то высшее сознанье
Вело наш доблестный народ —
Путей небесных оправданье
Он смело на себя берет.

Он чует над своей главою
Звезду в незримой высоте
И неуклонно за звездою
Спешит к таинственной мете!

Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер!
Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода,
Как феникс, зародится в нем.

1831

29 ЯНВАРЯ 1837 г.

Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал?
Кто сей божественный фиал
Разрушил, как сосуд скудельный?
Будь прав или виновен он
Пред нашей правдою земною,
Навек он высшею рукою
В «цареубийцы» заклеимен.

Но ты, в безвременную тьму
Вдруг поглощенная со света,
Мир, мир тебе, о тень поэта,
Мир светлый праху твоему!..
На зло людскому суесловью,
Велик и свят был жребий твой!..
Ты был богов орган живой,
Но с кровью в жилах.. знойной кровью.

И сею кровью благородной
Ты жажду чести утолил —
И, осененный, опочил,
Хоругвью горести народной.
Вражду твою пусть Тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь...
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

1837

Смотри, как запад разгорелся
Вечерним заревом лучей,
Восток померкнувший оделся
Холодной, сизой чешуей!

В вражде ль они между собою?
Иль солнце не одно для них
И, неподвижною средою
Деля, не съединяет их?
1830-е гг.

<СЛАВЯНАМ>

Вековать ли нам в разлуке,
Не пора ль очнуться нам
И простерть друг к другу руки,
К нашим кровным и друзьям?

Веки мы слепцами были —
И, как жалкие слепцы,
Мы блуждали, мы бродили,
Разбредись во все концы.

А случилось ли порою
Нам столкнуться как-нибудь,
Кровь не раз лилась рекою,
Меч терзал родную грудь.

И вражды безумной семя
Плод сторичный принесло —
Не одно погибло племя
Иль в чужбину отошло.

Инородец, иноземец
Нас раздвинул, разломил —
Тех обезьязычил немец,
Этих турок осрамил.

Вот среди сей ночи темной,
Здесь, на пражских высотах,
Доблий муж, рукою скромной,
Засветил маяк впотьмах.

О, какими вдруг лучами
Озарились все края!
Обличилась перед нами
Вся славянская земля.

Горы, степи и поморья
День чудесный облистал
От Невы до Черногорья,
От Карпатов по Урал.

Рассветает над Варшавой,
Киев очи отворил —
И с Москвой золотоглавой
Вышеград заговорил.

И родного слова звуки
Вновь понятны стали нам.
Наяву увидят внуки
То, что снилось отцам!

25 августа 1841 г.

МОРЕ И УТЕС

И бунтует и клокочет,
Хлещет, свищет и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот...
Ад ли, адская ли сила,
Под клокочущим котлом
Огонь геенский разложила
И пучину взворотила,
И поставила вверх дном?

Волн неистовых прибоем
Беспрерывно вал морской,
С ревом, свистом, визгом, воем,
Бьет в утес береговой, —
Но спокойный и надменный,
Дурью волн не обуян,
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный,
Ты стоишь, наш великан!

И озлобленные боем,
Как на приступ роковой,
Снова волны лезут с воем
На гранит громадный твой.
Но о камень неизменный
Бурный натиск преломив,
Вал отбрызнул сокрушенный,
И струится мутной пеной
Обессиленный порыв...

Стой же ты, утес могучий!
Обожди лишь час, другой —
Надоест волне гремучей
Воевать с твоей пятой...
Утомясь потехой злою,
Присмирет вновь она,
И без вою и без бою,
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна...

1848

НАПОЛЕОН

I

Сын Революции, ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил — и изнемог в борьбе...
Не одолел ее твой гений самовластный!..
Бой невозможный, труд напрасный!..
Ты всю ее носил в самом себе...

II

Два демона ему служили,
Две силы чудно в нем слились:
В его главе орлы парили,
В его груди змии вились...
Ширококрылых вдохновений
Орлиный, дерзостный полет,
И в самом буйстве дерзновений
Змииной мудрости расчет.
Но освящающая сила,
Непостижимая уму,
Души его не озарила
И не приблизилась к нему...
Он был земной, не божий пламень,
Он гордо плыл — презритель волн, —
Но о подводный веры камень
В щепы разбился утлый челн.

III

И ты стоял, — перед тобой Россия!
И вещей волхв, в предчувствии борьбы,

Ты сам слова промолвил роковые:
«Да сбудутся ее судьбы!..»
И не напрасно было заклинанье:
Судьбы откликнулись на голос твой!..
Но новою загадкою в изгнанье
Ты возразил на отзыв роковой...

Года прошли, — и вот из ссылки тесной
На родину вернувшийся мертвец,
На берегах реки, тебе любезной,
Тревожный дух, почил ты наконец...
Но чуток сон — и по ночам, тоскуя,
Порою встав, он смотрит на Восток,
И вдруг, смутясь, бежит, как бы почуя
Передрасветный ветерок.

Конец 1840-х гг.

РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ

Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои молодые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои...

И жизнь твоя пройдет незрима,
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, —
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле...
Конец 1840-х и.

ВЕНЕЦИЯ

Дождь Венеции свободной
Средь лазоревых зыбей,
Как жених порфирородный,
Достопавно, всенародно
Обручался ежегодно
С Адриатикой своей...

И недаром в эти воды
Он кольцо свое бросал —
Веки целые, не годы,
(Дивовались народы)
Чудный перстень воеводы —
Их вязал и чаровал...

И чета в любви и мире
Много славы нажила —
Века три или четыре,
Всё могучее и шире,
Разрасталась в целом мире
Тень от львиного крыла.

А теперь?..

В волнах забвенья
Сколько брошенных колец!..
Миновались поколенья, —
Эти кольца обрученья,
Эти кольца стали звенья
Тяжкой цепи накопец!..
Конец 1840-х г.

НЕМАН

Ты ль это, Неман величавый?
Твоя ль струя передо мной?
Ты, столько лет, с такою славой,
России верный часовой?..
Один лишь раз, по воле Бога,
Ты супостата к ней впустил —
И целость русского порога
Ты тем навеки утвердил...

Ты помнишь ли былое, Неман?
Тот день години роковой,
Когда стоял он над тобой,
Он сам — могучий, южный демон —
И ты, как ныне, протекал,
Шумя под вражьими мостами,
И он струю твою ласкал
Своими чудными очами?..

Победно шли его полки,
Знамена весело шумели,
На солнце искрились штыки,
Мосты под пушками гремели —
И с высоты, как некий бог,
Казалось, он парил над ними
И двигал всем и всё стерег
Очами чудными своими...

Лишь одного он не видал...
Не видел он, воитель дивный,

Что там, на стороне противной,
Стоял *Другой* — стоял и ждал...
И мимо проходила рать —
Всё грозно-боевые лица,
И неизбежная Десница
Клала на них свою печать...

И так победно шли полки,
Знамена гордо развевались,
Струились молнией штыки,
И барабаны заливались...
Несметно было их число —
И в этом бесконечном строе
Едва ль десятое чело
Клеймо минуло роковое...
Сентябрь 1853 г.

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное...

Ложь воплотилась в булат;
Каким-то божьим попушением
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем...

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!

Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье,
Ты — лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!

О, в этом испытаньи строгом,
В последней, роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед Богом...

24 октября 1854 г.

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил благословляя.

13 августа 1855 г.

Вот от моря и до моря
Нить железная скользит,
Много славы, много горя
Эта нить порой гласит.

И, за ней следя глазами,
Путник видит, как порой
Птицы вещие садятся
Вдоль по нити вестовой.

Вот с поляны ворон черный
Прилетел и сел на ней,
Сел, и каркнул, и крылами
Замахал он веселей.

И кричит он, и ликует,
И кружится всё над ней:
Уж не кровь ли ворон чует
Севастопольских вестей?

13 августа 1855 г.

Стоим мы слепо пред Судьбою.
 Не нам сорвать с нее покров...
 Я не свое тебе открою,
 А бред пророческий духов...

Еще нам далеко до цели,
 Гроза ревет, гроза растет, —
 И вот в железной колыбели,
 В громах, родился Новый Год.

Черты его ужасно-строги,
 Кровь на руках и на челе,
 Но не одни войны тревоги
 Принес он людям на земле.

Не просто будет он воитель,
 Но исполнитель божьих кар, —
 Он совершит, как поздний мститель,
 Давно задуманный удар.

Для битв он послан и расправы,
 С собой принес он два меча:
 Один — сражений меч кровавый,
 Другой — секиру палача.

Но для кого?.. Одна ли выя,
 Народ ли целый обречен?..
 Слова неясны роковые,
 И смутен замогильный сон.
 31 декабря 1855 г.

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,

Раствление душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, —
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...

15 августа 1857 г.

НА ЮБИЛЕИ КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКОГО

У Музы есть различные пристрастья,
Дары ее даются не равно;
Стократ она божественнее счастья,
Но своеюравна, как оно.

Иных она лишь на заре лелеет,
Целует шелк их кудрей молодых,
Но ветерок чуть жарче лишь повеет,
И с первым сном она бежит от них.

Тем у ручья, на луговине тайной,
Нежданная является порой,
Порадует улыбкою случайной,
Но после первой встречи — нет второй!

Не то от ней присуждено вам было;
Вас юношей настигнув в добрый час,
Она в душе вас крепко полюбила
И долго всматривалась в вас.

Досужая, она не мимоходом
Пеклась о вас, ласкала, берегла,
Растила ваш талант, и с каждым годом
Любовь ее нежнее всё была.

И как с годами крепнет, пламенея,
Сок благородный виноградных лоз, —
И в кубок ваш всё жарче и светлее
Так вдохновение лилось.

И никогда таким вином, как ныне,
Ваш славный кубок венчан не бывал.
Давайте ж, князь, подыдем в честь богине
Ваш полный, пенистый фиал!

Богине в честь, хранящей благородно
Залог всего, что свято для души,
Родную речь... расти она свободно,
И подвиг свой великий доверши!

Потом мы все, в молитвенном молчанье,
Священные поминки сотворим,
Мы сотворим тройное возлиянье
Трем незабвенно-дорогим.

Нет отклика на голос, их зовущий,
Но в светлый праздник ваших именин
Кому ж они не близки, не присущи —
Жуковский, Пушкин, Карамзин!..

Так верим мы, незрими́ми гостями
Теперь они, покинув горный мир,
Сочувственно витают между нами
И освящают этот пир.

За ними, князь, во имя Музы вашей,
Подносим вам заздравное вино,
И долго-долго в этой светлой чаше
Пускай кипит и искрится оно!..
Конец февраля — начало марта 1861 г.

КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Теперь не то, что за полгода,
Теперь не тесный круг друзей,
Сама великая природа
Ваш торжествует юбилей.

Смотрите, на каком просторе
Она устроила свой пир, —
Весь этот берег, это море,
Весь этот чудный летний мир.

Смотрите, как, облитый светом,
Ступив на крайнюю ступень,
С своим прощается поэтом
Великолепный этот день...

Фонтаны плещут тиховейно,
Прохладой сонной дышит сад,
И так над вами юбилейно
Петровы липы здесь шумят!

12 июля 1861 г.

Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон:
В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон...

Осьмой уж месяц длятся эти битвы,
Геройский пыл, предательство и ложь,
Притон разбойничий в дому молитвы,
В одной руке распятие и нож.

И целый мир, как опьяненный ложью,
Все виды зла, все ухищренья зла...
Нет, никогда так дерзко правду божью
Людская кривда к бою не звала!..

И этот клич сочувствия слепого,
Всемирный клич к неистовой борьбе,
Разврат умов и искаженье слова —
Всё поднялось и всё грозит тебе,

О, край родной! — такого ополченья
Мир не видал с первоначальных дней...
Велико, знать, о Русь, твое значенье!
Мужайся, стой, крепись и одолей!

Август 1863 г.

ENCYCLICA ¹

Был день, когда господней правды молот
Громил, дробил ветхозаветный храм,
И, собственным мечом своим заколот,
В нем издыхал первосвященник сам.

Еще страшней, еще неумолимей
И в наши дни — дни божьего суда —
Свершится казнь в отступническом Риме
Над лженаместником Христа.

Столетия шли, ему прощалось много,
Кривые толки, темные дела,
Но не простится правдой Бога
Его последняя хула...

Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет, —
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред!»
21 декабря 1864 г.

¹ Энциклика (лат.) — папское послание.

<НА ЮБИЛЕЙ М. В. ЛОМОНОСОВА>

Он, умирая, сомневался,
Зловещей думою томим...
Но Бог недаром в нем сказался —
Бог верен избранным своим...

Сто лет прошли в труде и горе —
И вот, мужая с каждым днем,
Родная Речь уж на просторе
Поминки празднует по нем...

Уж не опутанная боле,
От прежних уз отрешена,
На всей своей разумной воле
Его приветствует она...

И мы, признательные внуки,
Его всем подвигам благим
Во имя Правды и Науки
Здесь *память вечную* гласим.

Да, велико его значенье —
Он, верный Русскому уму,
Завоевал нам Просвещение,
Не нас поработил ему, —

Как тот борец ветхозаветный,
Который с Силой неземной
Боролся до звезды рассветной
И устоял в борьбе ночной.

Начало апреля 1865 г.

ВОСХОД СОЛНЦА

Молчит сомнительно Восток,
Повсюду чуткое молчанье...
Что это? Сон иль ожиданье,
И близок день или далек?

Чуть-чуть белеет темя гор,
Еще в тумане лес и доли,
Спят города, и дремлют селы...
Но к небу подымите взор.

Смотрите: полоса видна,
И, словно скрытной страстью рдея,
Она всё ярче, всё живее —
Вся разгорается она!

Еще минута, — и во всей
Неизмеримости эфирной
Раздастся благовест всемирный
Победных солнечных лучей...

29 июля 1865 г.

Небо бледноголубое
Дышит светом и теплом,
Что-то радостно-родное
Веет, светится во всём.

Воздух, полный теплой влаги,
Зелень свежую поит
И торжественные флаги
Зыбью тихую струит.

Чистым пламенем, спокойно,
По ночам горят огни...
Очарованные ночи,
Очарованные дни...

Словно строгий чин природы
Предан был на эти дни
Духу жизни и свободы,
Духу света и любви.

Словно век ненарушимый
Был нарушен вечный строй
И любившей и любимой
Человеческой душой.

В этом ласковом сиянье,
В этом воздухе живом
Чье-то чувствуется дыханье,
Чей-то слышится прием.

И немое умиление
С благодатью чистых слез
К нам сошло, как откровенье,
И во всех отозвалось.

Небывалое доселе
Понял вещей наш народ,
И *Дагмарова* неделя
Перейдет из рода в род.

17 сентября 1866 г.

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять,
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать,—

Спаси тогда нас, добрый Гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;

От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;

От желчи горького сознания,
Что нас поток уж не несет,
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед;

Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор,
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.
Сентябрь 1866 г.

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

28 ноября 1866 г.

НА ЮБИЛЕЙ Н. М. КАРАМЗИНА

Великий день Карамзина
Мы поминая братской тризной,
Что скажем здесь перед отчизной,
На что б откликнулась она?

Какой хвалою благоговейной,
Каким сочувствием живым
Мы этот славный день почтим —
Народный праздник и семейный?

Какой пошлем тебе привет —
Тебе, наш добрый, чистый Гений,
Средь колебаний и сомнений
Многотревожных этих лет?

При этой смеси безобразной
Бессильной правды, дерзкой лжи,
Так ненавистной для души
Высокой и ко благу страстной —

Души, какой твоя была,
Как здесь она еще боролась,
Но на призывный божий голос
Неудержимо к цели шла?

Мы скажем: будь нам путеводной,
Будь вдохновительной звездой —
Свети в наш сумрак роковой,
Дух целомудренно-свободный,

Умевший всё совокупить
В ненарушимом, полном строе,
Всё человечески-благое,
И русским чувством закрепить, —

Умевший, не сгибая выи
Пред обаянием венца,
Царю быть другом до конца
И верноподданным России...

30 ноября — 1 декабря 1865 г.

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?

Ужель навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?

Всё гуще мрак, всё пуще горе,
Всё неминуемей беда —
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись — теперь иль никогда...

20 декабря 1866 г.

ДЫМ

Здесь некогда, могучий и прекрасный,
Шумел и зеленел волшебный лес,
Не лес, а целый мир разнообразный,
Исполненный видений и чудес.

Лучи сквозили, трепетали тени,
Не умолкал в деревьях птичий гам,
Мелькали в чаще быстрые олени,
И ловчий рог взывал по временам.

На перекрестках, с речью и приветом,
Навстречу к нам, из полумглы лесной,
Обвеянный каким-то чудным светом,
Знакомых лиц слетался целый рой.

Какая жизнь, какое обаянье,
Какой для чувств роскошный, светлый пир!
Нам чуялось нездешнее созданье,
Но близок был нам этот чудный мир.

И вот опять мы к сказочному лесу
С привычною любовью подошли.
Но где же он? Кто опустил завесу?
Спустил ее от неба до земли?

Что это? призрак, чары ли какие?
Где мы? И верить ли глазам своим?
Здесь дым один, как пятая стихия,
Ленивый, вялый, бесконечный дым!

Кой-где насквозь торчат по обнаженным
Пожарищам уродливые пни,
И бегают по сучьям обожженным
С зловещим треском белые огни.

Нет, это сон, — вот встерок повеет
И дымный призрак унесет с собой...
И вот опять наш лес зазеленеет,
Все тот же лес — волшебный и родной.

26 апреля 1857 г.

СЛАВЯНАМ

*Man muss die Slaven an die Mauer drücken*¹

Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян прижмем!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своем!..

Да, стенка есть — стена большая, —
И вас не трудно к ней прижать,
Да польза-то для них какая?
Вот, вот что трудно угадать.

Ужасно та стена упруга,
Хоть и гранитная скала, —
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла...

Ее не раз и штурмовали,
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри...

Стоит она, как и стояла,
Твердыней смотрит боевой;
Она не то, чтоб угрожала,
Но... каждый камень в ней живой...

¹ Славян должно прижать к стене (нем.).

Так пусть же бешеным напором
Теснят вас немцы и прижмут
К ее бойницам и затворам, —
Посмотрим, что они возьмут!

Как ни бесись вражда слепая,
Как ни грози вам буйство их, —
Не выдаст вас стена родная,
Не оттолкнет она своих.

Она расступится пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдет.

11—16 мая 1867 г.

НА ЮБИЛЕЙ КНЯЗЯ А. М. ГОРЧАКОВА

В те дни кроваво-роковые,
Когда, прервав борьбу свою,
В ножны вложила меч Россия —
Свой меч, иззубренный в бою, —
Он волей призван был державной
Стоять на страже, — и он стал,
И бой отважный, бой неравный
Один с Европой продолжал.

И вот двенадцать лет уж длится
Упорный поединок тот:
Иноплеменный мир дивится,
Одна лишь Русь его поймет.
Он первый угадал, в чем дело,
И им впервые русский дух
Союзной силой признан смело, —
И вот венец его заслуг.

13 июня 1867 г.

В ДЕРЕВНЕ

Что за отчаянные крики,
И гам, и трепетанье крыл?
Кто этот гвалт безумно-дикий
Так неуместно возбудил?
Ручных гусей и уток стая
Вдруг одичала и летит,
Летит — куда, сама не зная,
И как шальная голосит.

Какой внезапною тревогой
Звучат все эти голоса!
Не пес, а бес четвероногой,
Бес, обернувшийся во пса,
В порыве буйства, для забавы,
Самоуверенный нахал,
Смутил покой их величавый
И их размыкал, разогнал!

И словно сам он, вслед за ними,
Для довершения обид,
С своими нервами стальными,
На воздух взвившись, полетит!
Какой же смысл в движении этом?
Зачем вся эта трата сил?
Зачем испуг таким полетом
Гусей и уток окрылил?

Да, тут есть цель! В ленивом стаде
Замечен страшный был застой,
И нужен стал, прогресса ради,
Внезапный натиск роковой, —
И вот благое провиденье
С цепи спустило сорванца,
Чтоб крыл своих предназначенье
Не позабыть им до конца.

Так современных проявлений
Смысл иногда и бестолков, —
Но тот же современный гений
Всегда их выяснить готов.
Иной, ты скажешь, просто лает,
А он свершает высший долг, —
Он, осмысляя, развивает
Утиный и гусиный толк.

16 августа 1869 г.

СОВРЕМЕННОЕ

Флаги веют на Босфоре,
Пушки празднично гремят,
Небо ясно, блещет море,
И ликует Цареград.

И недаром он ликует:
На волшебных берегах
Ныне весело пирует
Благодушный падишах.

Угощает он на славу
Милых западных друзей —
И свою бы всю державу
Заложил для них, ей-ей.

Из премудрого далека
Франкистанской их земли
Потулять на счет Пророка
Все они сюда пришли.

Пушек гром и мусикия!
Здесь Европы всей привал,
Здесь все силы мировые
Свой справляют карнавал.

И при криках иступленных
Бойкий западный разгул
И в гаремах потаенных
Двери настезь распахнул.

Как в роскошной этой раме
Дивных гор и двух морей
Веселится об исламе
Христианский съезд князей!

И конца нет их приветам,
Обнимает брата брат...
О, каким отрадным светом
Звезды Запада горят!

И всех ярче и милее
Светит тут звезда одна,
Коронованная фея,
Рима дочь, его жена.

С пресловутого театра
Всех изяществ и затей,
Как вторая Клеопатра,
В сонме царственных гостей,

На Восток она явилась,
Всем на радость, не на зло,
И пред нею всё склонилось:
Солнце с Запада взошло!

Только там, где тени бродят
По долинам и горам
И куда уж не доходят
Эти клики, этот гам, —

Только там, где тени бродят,
Там в ночи из свежих ран
Кровью медленно исходят
Миллионы христиан...
Октябрь 1869 г.

ГУС НА КОСТРЕ

Костер сооружен, — и роковое
Готово вспыхнуть пламя. Всё молчит...
Лишь слышен легкий треск, и в нижнем слое
Костра огонь предательски сквозит.

Дым побежал — народ столпился гуще,
Вот все они — весь этот темный мир:
Тут и гнетомый люд — и люд гнетущий,
Ложь и насилье, рыцарство и клир.

Тут вероломный кесарь и князей
Имперских и духовных сонм верховный,
И сам он, римский иерарх, в своей
Непогрешимости греховной.

Тут и она, та старица простая,
Не позабытая с тех пор,
Что принесла, крестясь и воздыхая,
Вязанку дров, как лепту, на костер.

И на костре, как жертва пред закланьем,
Вам праведник великий предстоит:
Уже обвеян огненным сияньем,
Он молится — и голос не дрожит.

Народа чешского святой учитель,
Бестрепетный свидетель о Христе,
И римской лжи суровый обличитель
В своей высокой простоте, —

Не изменив ни Богу, ни народу,
Боролся он — и был необорим —
За правду божью, за ее свободу,
За всё, за всё, что бредом назвал Рим.

Он духом в небе — братскою ж любовью
Еще он здесь, еще в среде своих,
И светел он, что собственной кровью
Христову кровь он отстоял для них.

О чешский край, о род единокровный!
Не отвергай наследья своего!
О, доверши же подвиг свой духовный
И братского единства торжество!

И цепь порвав с юродствующим Римом,
Гнетущую тебя уж так давно,
На Гусовом костре неугасимом
Расплавь ее последнее звено.
15—17 марта 1870 г.

ДВА ЕДИНСТВА

Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! —
Славянский мир, сомкнись тесней...

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...

Сентябрь 1870 г.

<КНЯЗЮ А. М. ГОРЧАКОВУ>

Да, вы сдержали ваше слово:
Не двинув пушки, ни рубля,
В свои права вступает снова
Родная русская земля.

И нам завещанное море
Опять свободною волной,
О кратком позабыв позоре,
Лобзает берег свой родной.

Счастлив в наш век, кому победа
Далась не кровью, а умом,
Счастлив, кто точку Архимеда
Умел сыскать в себе самом, —

Кто полный бодрого терпенья,
Расчет с отвагой совмещал —
То сдерживал свои стремленья,
То своевременно дерзал.

Но кончено ль противоборство?
И как могучий ваш рычаг
Осилит в умниках упорство
И бессознательность в глупцах?
Октябрь — декабрь 1870 г.

ЧЁРНОЕ МОРЕ

Пятнадцать лет с тех пор минуло,
Прошел событий целый ряд,
Но вера нас не обманула —
И Севастопольского гула
Последний слышим мы раскат.

Удар последний и громовый,
Он грянул вдруг, животворя:
Последнее в борьбе суровой
Теперь лишь высказано слово,
То слово — русского царя.

И всё, что было так недавно
Враждой воздвигнуто слепой,
Так нагло, так самоуправно,
Пред честностью его державной
Всё рушилось само собой.

И вот: *свободная стихия*, —
Сказал бы наш поэт родной, —
Шумишь ты, как во дни былые,
И катишь волны голубые,
И блещешь гордою красой!..

Пятнадцать лет тебя держало
Насилье в западном плену:
Ты не сдавалась и роптала,
Но час пробил — насилье пало:
Оно пошло, как ключ ко дну.

Опять зовет и к делу нудит
Родную Русь твоя волна,
И к распре той, что Бог рассудит,
Великий Севастополь будит
От заколдованного сна.

И то, что ты во время Оно
От бранных скрыла непогод
В свое сочувственное лоно,
Отдашь ты нам — и без урона —
Бессмертный Черноморский флот.

Да, в сердце русского народа
Святиться будет этот день, —
Он — наша внешняя свобода,
Он Петропавловского свода
Осветит гробовую сень...

Начало марта 1871 г.

КОММЕНТАРИИ

I

Стр. 33. А. Н. М. Обращено к Андрею Николаевичу Муравьеву (1806—1874), одному из участников литературного кружка С. Е. Ранча. В 20—30-е годы Муравьев выступал как поэт, впоследствии писал по религиозным и церковным вопросам.

Стр. 34. С л е з ы. («Люблю, друзья, ласкать очами...»). Латинский эпиграф заимствован у английского поэта Т. Грея. Ранние стихи которого написаны по-латыни. *Пафосская царица* — Киприда, богиня любви и красоты (мифол.).

Стр. 37. Проблеск. Л. Н. Толстой в принадлежавшем ему сборнике стихов Тютчева отметил это стихотворение буквой Г (Тютчев, то есть своеобразие) и четырьмя восклицательными знаками («Урагия, тютчевский альманах», Л., 1928, стр. 243). Кроме того, он подчеркнул особенно понравившиеся ему 23—24 и 29—32 строки. До Толстого И. С. Аксаков указывал на это стихотворение как на первое проявление чисто тютчевского поэтического мастерства («Биография Ф. И. Тютчева», М., 1886, стр. 320).

Стр. 39. Вечер. В рукописи имеется следующий вариант 3—4 стихов:

Как шорох стаи журавлиной,
И в шуме листьев замер он.

Стр. 41. Видение. *Атлас* — гигант, поддерживающий на своих плечах небесный свод (мифол.).

Стр. 42. Весенняя гроза. Стихотворение написано Тютчевым в конце 20-х годов и тогда же напечатано в журнале «Галатея» (1829, ч. 1, № 3). В первопечатной редакции «Весенняя гроза» читается так:

Люблю грозу в начале мая:
Как весело весенний гром
Из края до другого края
Грохочет в небе голубом!
С горы бежит ручей проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И говор птиц и ключ нагорный —
Всё вторит радостно громам!

(Последняя строфа: «Ты скажешь: ветренная Геба...» совпадает с окончательной редакцией.) В издании 1854 г. «Весенняя гроза» напечатана в измененной редакции, ставшей общеизвестной. Сличение раннего и позднего текстов этого стихотворения много дает для понимания творческой работы Тютчева. В первой строфе введение метафоры «как бы резвяся и играя», с одной стороны, привело к устранению ставшего ненужным эпитета «весело», с другой стороны, усилило «грозовую» звукопись всей строфы. Той же задаче отвечает новая строфа (вторая), появившаяся в поздней редакции и дополняющая картину грозы новыми чертами. В третьей строфе поэт заменяет ряд конкретных образов (ручей, говор птиц, ключ нагорный) более обобщенными (поток, гам лесной, шум нагорный), подчеркивая повторами отдельных слов и звуков стремительность ритмического движения строфы. Геба — богиня юности, разливавшая нектар богам (мифол.).

Стр. 52 и 53. «Ты зрел его в кругу большого света и в толпе людей, в нескромном шуме дня...» Образ месяца днем в этих стихотворениях подсказан «Путевыми картинами» Гейне, откуда в конце 20-х годов Тютчев перевел стихами отрывок (31-ю главу 1-й части).

Стр. 54. «Через ливонские я проезжал поля». Относится ко времени приезда Тютчева из-за границы в Россию в 1830 г. Тема стихотворения близка к позднему стихотворению Тютчева «От жизни той, что бушевала здесь...»

Стр. 55. «Песок сылучий по колени...» Относится ко времени приезда Тютчева в Россию. Строки 7—8 напоминают строки Гете из стихотворения «Willkommen und Abschied» («Свидание и разлука»): «...темнота глядела из кустов сотней черных глаз». Некрасов сравнивает эти строки Тютчева со стихами Лермонтова:

И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста, —

и находит, что рядом с тютчевскими они «значительно теряют в своей оригинальности и выразительности». («Современник», 1850, т. XIX.)

Стр. 58. «Есть в светлости осенних вечеров...» В своей статье о Тютчеве Н. А. Некрасов привел это стихотворение как пример «удивительной способности» Тютчева «схватывать характеристические черты картин и явлений природы». «Превосходная картина! — добавляет Некрасов. — Каждый стих хватается за сердце, как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы осеннего ветра; их и слушать больно и перестать слушать жаль. Впечатление, которое испытываешь при чтении этих стихов, можно только сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен. Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце. Нечего и говорить о художественном достоинстве приведенного стихотворения: каждый стих его перл, достойный любого из наших великих поэтов». («Современник», 1850, т. XIX).

Стр. 61. *Ma'gia*. Стихотворение вызвано чтением романа

г-жи де-Сталь «Corinne ou l'Italie» («Коринна или Италия»): «Нездоровый воздух — бич обитателей Рима... Злокачественное влияние его не проявляется никакими внешними признаками: вы вдыхаете воздух, который кажется чистым и на самом деле очень приятен; земля цветуща и плодоносна; чудесная прохлада по вечерам освещает вас от жгучего зноя дня: а между тем всё это — смерть.— Я люблю,— говорил Освальд Коринне,— эту опасность таинственную, незримую, опасную, скрытую под чарующей внешностью. Если смерть, как я убежден, есть только призыв к более счастливому существованию, то отчего бы запаху цветов, тени прекрасных деревьев, прохладному дыханию вечера не быть для нас вестниками этого блаженства?.. У природы есть тайны, проникнуть в которые можно только воображением...» (кн. V, гл. 3).

Стр. 64. Безумие. Стихотворение перекликается с 7—10 строками позднейшего обращения Тютчева к Фету: «Тебе сердечный мой поклон...». В обоих случаях Тютчев намекает на людей, одаренных способностью распознавать в безводных местах нахождение ключевой воды. Как указал Л. В. Пумпянский, «в то время много толковали во французских газетах об арабских sources, к услугам которых обращалось в Алжире французское правительство». (Л. В. Пумпянский, Поэзия Ф. И. Тютчева — «Уrania, тютчевский альманах», Л., 1928, стр. 22).

Стр. 67. Весенние воды. Некрасов восхищался «жизнью, веселостью, весенней свежестью», дышащими в этих стихах. «Читая их,— замечает он,— чувствуешь весну, когда сам не знаешь, почему делается весело и легко на душе, как будто несколько лет свалилось долой с плеч,— когда любишься и едва показавшейся травкой, и только что распускающимся деревом, и бежишь, бежишь, как ребёнок, полной грудью вливая живительный воздух и забывая, что бежать совсем неприлично, не по летам, а следует идти степенно, и что радоваться тоже совсем нечего и нечему». («Современник», 1850, т. XIX).

Стр. 69. Silentium! Любимое стихотворение Л. Н. Толстого. «Silentium!» Тютчева вместе со стихотворениями Пушкина «Когда для смертного умолкнет шумный день...» и Боратынского «Смерть» было включено Толстым в первое издание «Круга чтения»; в последующих изданиях оставлено только «Silentium!». С. Л. Толстой, вспоминая об отношении отца к стихам Тютчева, рассказывает: «Не раз он вспоминал «Silentium!», особенно стих: Мысль изреченная есть ложь. Признавая вместе с Тютчевым, что, в сущности, нельзя передать свою мысль другому человеку, он говорил про себя: «Я мыслю лучше, чем говорю, говорю лучше, чем пишу, пишу лучше, чем печатаю». В принадлежавшем Толстому экземпляре стихотворений Тютчева «Silentium!» имеет отметку Г — глубина. А. Б. Гольденвейзер записал следующий отзыв Толстого о «Silentium!»: «Что за удивительная вещь! я не знаю-лучше стихотворения» (См. С. Толстой, Л. Н. Толстой о поэзии Тютчева — «Толстовский ежегодник», М., 1912, стр. 144; А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. II, М., 1922, стр. 303).

Стр. 70. «На древе человечества высоко...» По предположению И. С. Аксакова, стихотворение вызвано смертью Гете (умер 22 марта 1832 г.). В таком случае оно поразительно совпадает

со следующими строками из одновременного стихотворения Боратынского «На смерть Гете»:

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье:
Была ему звездная книга ясна.
И с дим говорила морская волна.

Стр. 78. «Я помню время золотое...» Обращено к баронессе Амалии Максимилиановне Крюденер (1808—1888). Весной 1836 г. Тютчев через нее переслал в Петербург кн. И. С. Гагарину рукописи своих стихотворений. Некрасов считал, что стихотворение «Я помню время золотое...» «принадлежит к лучшим произведениям» Тютчева, «да и вообще всей русской поэзии» («Современник», 1850, т. XIX).

Стр. 91. «С поляны коршун поднялся...» Тема, композиция и образы этого стихотворения близки к стихотворению А. Д. Илличевского «Орел и человек», напечатанному в альманахе «Северные цветы» на 1827 г., стр. 291:

С подоблачной вершины гор
Орел под своды неба вьется,
Вперив на солнце смелый взор,
Громам и молниям смеется.
А человек, сей царь земли,
В ничтожестве своем тщеславный,
Мечтает быть с богами равный
И пресмыкается в пыли.

Повидимому, либо оба стихотворения восходят к общему поэтическому первоисточнику, либо стихи Тютчева являются свободным перепевом чужой темы (подобно стихотворениям «Вчера в мечтах обвороженных» и «Море и утес»).

Стр. 94. «Тени сизые смешались...» В дневнике А. Б. Гольденвейзера имеется интересная запись о чтении этого стихотворения Л. Н. Толстым 7 декабря 1899 г. Толстой был болен. «На столике у него лежал том Тютчева. Заговорили о Тютчеве. На днях Л. Н. попало в «Новом времени» его стихотворение «Сумерки». Он достал по этому поводу их все и читал больной. Л. Н. сказал мне: «Я всегда говорю, что произведение искусства или так хорошо, что меры для определения его достоинств нет — это истинное искусство; или же оно совсем скверно. Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать без слез. Я его запомнил. Постойте, я вам сейчас скажу его». Л. Н. начал прерывающимся голосом: «Тени сизые смешались». Я умираю буду, не забуду того впечатления, которое произвел на меня в этот раз Л. Н. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал и начинал сызнова. Но, наконец, когда он произнес конец первой строфы: «Всё во мне, и я во всём», — голос его оборвался. Приход А. Н. Дунаева (друг семьи Толстых) остановил чтение. Он немного успокоился. — «Как жаль, я вам испортил стихотворение», — сказал он мне немного погодя» (А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. I, М., 1922, стр. 24—25.)

Стр. 99. Фонтан. Стихотворение, возможно, является отголо-ском раздумий Паскаля о величии и бессилии человеческого разума. Например: «Мы горим желанием всё постичь и соорудить башню, которая возвышалась бы до бесконечности. Но всё сооружение наше рушится и земля разверзается до самых глубин своих» («Pensées» — «Мысли»). Тютчев еще в юношеские годы читал Паскаля, и чтение это оставило заметный след в его сознании.

Стр. 100. «Не то, что мните вы, природа...» Точками в первопечатном тексте («Современник», 1836, т. III) обозначены две строфы, непроставленные цензурой. За утратой рукописи они не могут быть восстановлены.

Стр. 105. «Вчера в мечтах обворуженных...» Стихотворение, повидимому, является своеобразным состязанием с Бенедиктовым, стихи которого в это время вызвали высокую оценку со стороны Тютчева. Тема и образы данного стихотворения Тютчева сходны с третьей частью стихотворения Бенедиктова «Три вида»:

Прекрасна дева молодая,
Когда покоится она,
Роскошно члены развивая
Средь упоительного сна.
Рука, откинута небрежно,
Лежит под сонной головой,
И, озаренная луной,
Глава к плечу склонилась нежно.
Растянут в ленту из кольца,
Измятый локон ниспадает,
И, брошен набок в пол-лица,
Его волшебнo оттеняет.
Грудные волны и плечо,
Никем незримые, открыты,
Ланиты негой облиты,
И уст дыханье горячо.
Давно пронзает луч денницы
Лилейный занавес окна;
В последнем обаянии сна
Дрожат роскошные ресницы, —
И дева силится вздохнуть;
По лику бледность пролетела,
И пламенеющая грудь
В каком-то трепете замлела...
И вот — лазурная эмаль
Очей прелестных развернулась...
Она и рада, что проснулась,
И сна лукавого ей жаль.

В автографе тютчевского стихотворения имеется следующий вариант последней строфы:

Вдруг животрепетным сияньем
Коснувшись девственных грудей,
Румяным громким восклицаньем
Раскрыло шелк твоих очей!

Лексически этот вариант ближе к словарю Бенедиктова. Характерно, что во втором варианте Тютчев устраняет «бенедиктовское» выражение «девственных грудей» и заменяет его «тютчевским» славянизмом «персей молодых».

Стр. 107. 1 декабря 1837 («Так здесь-то суждено нам было...»): Обращено к баронессе Эрнестине Дёрнберг (1810—1894)—будущей жене поэта. *Сей край* — Генуя.

Стр. 108 и 112. Итальянская *villa* и «С какой негой, с какой тоской влюбленной...» Обращены к Эрнестине Дёрнберг и связаны с пребыванием поэта в Генуе осенью 1837 г.

Стр. 110. «Давно ль, давно ль, о юг блаженный...» Написано по возвращении из Генуи в Турин, в середине декабря 1837 г.

Стр. 120. Глядел я, стоя над Невою...» Написано по возвращении из-за границы в Петербург.

Стр. 121. Колумб. Свободная вариация на тему Шиллера (ср. заключительные строки стихотворения «Columbus» — «Колумб»: «С гением природа в вечном союзе, — что один обещает, сдержит наверно другая»).

Стр. 122. «Как он любил родные ели...» Согласно установившемуся мнению относится к французскому поэту и политическому деятелю А. Ламартину (1790—1869). Поводом к этому восьмистишию могла послужить речь Ламартина, произнесенная в 1848 г., в которой он упоминал о том, что, воспитанный в горах Савойи, он там впитал «родной дух поэзии».

Стр. 123. «Еще томлюсь тоской желаний...» Посвящено памяти первой жены поэта, Элеоноры Тютчевой, рожд. гр. Ботмер (1799—1838). Чем была она для Тютчева, можно судить по его собственному признанию в одном из неизданных писем к родителям от 15 апреля 1837 г.: «...никогда человек не был столь любим, сколь я любим ею. Я могу сказать, уверившись в этом почти на опыте, что в течение одиннадцати лет не было ни одного дня в ее жизни, когда, дабы упрочить мое счастье, она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня. Это нечто весьма возвышенное и весьма редкое, когда оно не фраза» (Перевод с французского. — Мурановский архив.) Элеонора Тютчева умерла 9 сентября (нов. ст.) 1838 г. в Турине. Причинами ее смерти были простуда и сильное нервное потрясение, перенесенное ею в мае того же года на пути из Петербурга в Турин в связи с пожаром парохода «Николай I», на котором находилась она со своими тремя малолетними дочерьми. Смерть жены была тяжким ударом для Тютчева: в одну ночь он посидел с горя у ее гроба. Кроме комментируемого стихотворения, Тютчев посвятил ее памяти еще одно: «В часы, когда бывает...» (1858).

Стр. 125. «Итак, опять увиделся с вами...» Написано по поводу посещения родовой усадьбы Тютчевых, с. Овстуг в Брянском уезде Орловской губернии. В одно из предыдущих пребываний там Тютчев писал жене: «...в первые мгновения по приезде мне очень ярко вспомнился и как бы открылся зачарованный мир детства, так давно распавшийся и сгинувший... Словом, я испытал в течение нескольких мгновений то, что тысячи подобных мне испытали при таких же обстоятельствах, что вслед за мною испытает еще немало других и что, в конечном счете, имеет ценность только для самого переживающего и только до тех пор, покуда он находится под этим обаянием». (Перевод с французского. — Отдел рукописей Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.) Последние строки стихотворения посвящены памяти первой жены поэта.

Стр. 135. «Еще шумел веселый день...» Ранняя редакция стихотворения относится к концу 20-х годов.

Пробуждение

Еще шумел веселый день,
Толпами улица блистала,
И облаков вечерних тень
По светлым кровлям пролетала.
Весенней негой утомлен,
Вдался я в сладкое забвенье:
Не знаю, долог ли был сон,
Но странно было пробужденье...
Безмолвно в сумраке ночном
Ходило лунное сиянье
И ночи зыбкое молчанье
Едва струилось ветерком,
Украдкой в мое окно
Смотрело бледное светило,
И мне казалось, что оно
Мою дремоту сторожило.
И между тем какой-то Гений
Из области цветущей Дня
Стезею тайной сновидений
В страну теней увел меня.

Стр. 138. «Святая ночь на небосклон взошла...» В подлинной рукописи перед текстом зачеркнутое заглавие: «Самосознание». Тема и образы этого стихотворения близки к стихотворению «День и ночь».

Стр. 143. Графине Р. (в ответ на письмо). Посвящено поэтессе Евдокии Петровне Ростопчиной, рожд. Сушковой (1811—1858). *Стигийская мгла* — в греч. мифологии стигийскими берегами назывались берега Стикса, реки в загробном мире. *Фея-нелюдимка* — намек на вышедшую в 1850 г. драму Ростопчиной «Нелюдимка».

Стр. 150. «О, как убийственно мы любим...» Наверяно любовью Тютчева к Е. А. Денисьевой (1826—1864). Тютчев сблизился с нею летом 1850 г. Четырнадцатилетняя связь Тютчева с Денисьевой нашла яркое отражение в его лирике 50—60-х гг.

Стр. 153. Наш век. Начиная со слов «Я верю» — цитата из евангелия от Марка.

Стр. 155. «В разлуке есть высокое значенье...» Экспромпт в письме Тютчева к жене Э. Ф. Тютчевой, от 6 августа 1851 г.: «Чувствую, что письма мои самые пошло-грустные. Они ничего не сообщают и несколько напоминают покрытые мелом оконные стекла, сквозь которые ничего не видать и которые существуют лишь для того, чтобы свидетельствовать о разлуке и отсутствии. Вот в чем несчастье быть до такой степени безличным... Это-то и препятствует мне относиться к самому себе достаточно серьезно, чтобы интересоваться мелочами своего существования, коль скоро твое ему не сопутствует. А потому единственное мало-мальски сильное чувство, которое я испытываю, — это чувство глухого возмущения, что я не могу покинуть самого себя после того, что я покинут тобою... (Следует текст стихов.) Вот... плохие вирши, выражающие нечто еще того хуже». (Перевод с французского. — Отдел рукописей Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина).

Стр. 159. «Не знаю я, коснется ль Благодать...» перед текстом в рукописи имеется помета: «Pour vous a déchiffrer toute seule» («Для вас, чтобы прочесть наедине»). Посвящено Э. Ф. Тют-

чевой, второй жене поэта, и написано в первый год его связи с Денисьевой. Стихотворение было вложено Тютчевым в гербарий, принадлежавший его жене, но обнаружено ею только в 1875 г., спустя два года после смерти поэта. «Это целое событие в моей безрадостной жизни», писала Э. Ф. Тютчева по поводу этой находки своей падчерице Е. Ф. Тютчевой (Мурановский архив).

Стр. 160—162. «Не говори: меня он, как и прежде, любил...», «О, не тревожь меня укорой справедливой» и «Чему молилась ты с любовью...» Стихотворения связаны с любовью Тютчева к Денисьевой.

Стр. 163. «Я очи знал,—о эти очи!» Повидимому, связано с циклом стихотворений, относящихся к Елене Александровне Денисьевой.

Стр. 166. Памяти В. А. Жуковского. Василий Андреевич Жуковский умер 7 апреля 1852 г. *Были Омидовы* (т. е. Гомеровы)—перевод «Одиссеи»; Жуковский читал его Тютчеву в 1847 г. *Лишь сердцем чистые*—цитата из евангелия от Матфея.

Стр. 168. «Сияет солнце, воды блещут...» Стихотворение принадлежит к циклу стихов, связанных с любовью Тютчева к Е. А. Денисьевой. *Поют деревья*—метафора, неоднократно встречающаяся у Гейне. Например: «...все цветы говорят и поют, как хор» («Лирическое интермеццо», № 43); «... поют еще деревья все так же прекрасно под лунным светом» («Kunstberichte aus Paris»—«Über die französische Bühne», письмо 10-е). Но у Гейне деревья «поют» ночью, при луне, а у Тютчева днем, на солнце. На этой тютчевской метафоре останавливается Фет в своей статье о стихах Тютчева: «Деревья поют у г. Тютчева. Не станем, подобно классическим комментаторам, объяснять это выражение тем, что тут поют сидящие на деревьях птицы,—это слишком рассудочно; нет! нам приятнее понимать, что деревья поют своими мелодическими весенними формами, поют стройностью, как небесные сферы. Зато каким скачком рвется вперед, со второго куплета, лиризм стихотворения, и без того погружающего читателя с первого полустихия в море весеннего восторга» («Русское слово», 1859).

Стр. 171. Лето 1854. В письме к жене от 5 августа 1854 г. Тютчев пишет: «Какие дни! Какие ночи! Какое чудное лето! Его чувствуешь, дышишь им, проникаешься им и едва веришь этому сам. Что мне кажется особенно чудесным—это продолжительность, невозмутимая продолжительность этих хороших дней, внушающая какое-то доверие называемое удачею в игре. Уж не отменил ли господь окончательно в нашу пользу дурную погоду?». (Перевод с французского. — «Старина и новизна», кн. XIX, 1915, стр. 87—88.)

Стр. 173. «Пламя рдеет, пламя пышет...» Посвящено Е. А. Денисьевой.

Стр. 175. «О вещая душа моя!» *Мария*—в евангельском рассказе женщина, сидевшая у ног Христа и слушавшая его слова, в то время как сестра ее Марфа хлопотала об угощении.

Стр. 176. Н. Ф. Щербине. Посвящено поэту Николаю Федоровичу Щербине (1821—1869). Основной мотив его творчества—идеализация античного мира.

Стр. 179. «В часы, когда бывает...» Посвящено памяти Эл. Тютчевой, первой жены поэта.

Стр. 181. «Она сидела на полу...» Относится к Е. А. Денисьевой.

Стр. 183. На возвратном пути, I и II. Посылая оба стихотворения Д. Ф. Тютчевой, Тютчев писал: «Вот, милая моя дочь, несколько ничтожных вирш, которые послужили для меня развлечением от скуки снотворного путешествия и которые я посылаю тебе вместо длинного письма... Чтобы быть справедливым, впрочем, я должен тебе сказать, что в настоящую минуту сверкает прекрасное солнце — правда, не на розовых кустах и апельсиновых деревьях в цвету, а на молодых, свежераспустившихся молодых сосульках». (Перевод с французского. — Архив Н. И. Тютчева, внука поэта.)

Стр. 186. Е. Н. Анненковой. Написано в альбом Елизаветы Николаевны Анненковой (1840—1886), в замужестве кн. Голицыной.

Стр. 189. При посылке Нового завета. Обращено к старшей дочери поэта Анне Федоровне Тютчевой (1829—1889), в замужестве Аксаковой.

Стр. 190. А. А. Фету. Написано в ответ на стихотворное обращение Фета с просьбой о присылке ему портрета: «Мой обожаемый поэт...». Фет был большим почитателем поэзии Тютчева, написал восторженную статью об его поэзии (журн. «Русское слово», 1859 г.) и посвятил ему, кроме вышеупомянутого, еще два стихотворения: «Прошла весна, темнеет лес...» и «Вот наш патент на благородство...»; последнее написано уже после смерти Тютчева на книжке его стихов и кончается известными словами:

...Муза, правду соблюдая,
Глядит, а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая,
Томов премногих тяжелей.

Стр. 191. Н. И. Кролю. Обращено к поэту-сатирику и драматургу Николаю Ивановичу Кролю (1823—1871).

Стр. 192. Н. С. Акинфиевой. Посвящено Надежде Сергеевне Акинфиевой, рожд. Анненковой (1839—1891). Акинфиева доводилась племянницей министру иностранных дел, кн. А. М. Горчакову. В строках 19—21 содержится намек на увлечение Горчакова Акинфиевой.

Стр. 194. «Как ни бесилося злоречье...» Повидимому, стихотворение относится к Н. С. Акинфиевой и вызвано разводом с ее первым мужем, В. Н. Акинфиевым.

Стр. 195. «Весь день она лежала в забытьи...» Посвящено воспоминанию о последних минутах Е. А. Денисьевой, умершей от чахотки в Петербурге 4 августа 1864 г. Через три дня после ее смерти, 8 августа, Тютчев писал А. И. Георгиевскому: «Всё кончено... Вчера мы ее хоронили... Что это такое? Что случилось? О чём это я вам пишу — не знаю... Во мне всё убито — мысль, чувство, память, всё... Я чувствую себя совершенным идиотом. Пустота, страшная пустота. И даже в смерти не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то... Сердце пусто, мозг изнеможен. Даже вспомнить о ней, вызвать ее живую в памяти, как она была, глядела, говорила, и этого не могу. Страшно, невыносимо... Писать более не в силах, да и что писать?..» (Чулков Георгий, Последняя любовь Тютчева, изд. М. и С. Сабашниковых, 1928, стр. 44—45).

Стр. 196. «Утихла биза... Легче дышит...» Белая гора — Монблан. Одна могила — могила Е. А. Денисьевой на Волковом кладбище в Петербурге.

Стр. 198. «О, этот юг! О, эта Ницца!» Написано во время пребывания Тютчева в Ницце в 1864 г. и связано с подавленным настроением, в котором находился поэт после смерти Е. А. Денисьевой. В письме к дочери А. Ф. Тютчевой от 29 марта 1865 г. из Парижа, говоря о том, что Париж «на время развлек и заставил забыть» его, Тютчев вспоминает о Ницце: «Упрекаю себя за неприязнь и чувство злопамятства, которые я сохранил к этой бедной местности, столь, впрочем, приветливой, и которая, — увы! — я это чувствую, в прежние время и при других условиях улыбалась бы мне так же, как и стольким иным... Но в долгие часы, проведенные там мною наедине с самим собою, вся горечь коих ведаема одному богу, я до того пропитал ее собою, что этим как бы отравил ее. Странную роль сыграла Италия в моей жизни... Дважды являлась она передо мной, как роковое видение, после двух самых великих скорбей, какие мне суждено было испытать... Есть страны, где носят траур ярких цветов. Повидимому, это мой удел...» (Перевод с французского.—Мурановский архив.) Первой «великой скорбью», о которой упоминает Тютчев в этом письме, была смерть его первой жены.

Стр. 200. «Когда на то нет божьего согласия...» Обращено к дочери Дарье Федоровне Тютчевой (1834—1903). Обстоятельства, вызвавшие это стихотворение, не ясны.

Стр. 203. «Певучесть есть в морских волнах...» Эпиграф взят у латинского поэта Авзония (IV в. до н. э.). *Мыслящий тростник* — образ, заимствованный у французского мыслителя Б. Паскаля: «Человек не более как самая слабая тростинка в природе, но это — тростинка мыслящая» («Pensées» — Мысли). *Глас вопиющего в пустыне* — цитата из библии (Книга Исаии).

Стр. 204. Другу моему Я. П. Полонскому. Четверостишие написано в ответ на стихотворение Полонского (1820—1898) «Ф. И. Тютчеву» («Ночной костер зимой у перелеска...»). Непосредственно к Тютчеву обращены строки:

Так и к тебе, задумчивый поэт,
К огню, что ты сберег на склоне бурных лет,
Счастливцев не придет. Огонь под сединами.
Не греет юности, летящей с бубенцами
На тройке ухарской... и т. д.

Тютчев отвечает Полонскому образами его же стихотворения.

Стр. 205. 15 июля 1865 («Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...») Адресат известен. 15 июля 1850 г. — день первой встречи Тютчева с Е. А. Денисьевой.

Стр. 206. Накануне годовщины 4 августа 1864 г. Написано накануне первой годовщины со дня смерти Е. А. Денисьевой.

Стр. 207. «Как неожиданно и ярко...» В принадлежавшем Л. Н. Толстому экземпляре сочинений Тютчева это стихотворение отмечено буквой *T* (Тютчев, то есть своеобразие) и пятью восклицательными знаками — высшая оценка на протяжении всего сборника. Строка «И в высоте изнемогла» особо подчеркнута. На выражении «изнемогла» останавливается в своем критическом обзоре поэзии Тютчева И. С. Аксаков: «Изнемогла! Выражение не только глубоко-верное, но и смелое. Едва ли не впервые употреблено оно в нашей литературе в таком именно смысле. А между тем нельзя лучше выразить этот внешний процесс постепенного таяния, ослабления, исчезновения радуги» («Биография Ф. И. Тютчева», М., 1886, стр. 96).

Стр. 210. «Тихо в озере струится...» Навечно впечатлениями Царского Села.

Стр. 211. «Как ни тяжел последний час...» Написано во время заседания Совета Главного управления по делам печати. Писатель гр. П. И. Капнист (1830—1898), присутствовавший также на этом заседании, заметил, что Тютчев «был весьма рассеян и что-то рисовал или писал карандашом на листе бумаги, лежавшей перед ним на столе. После заседания он ушел в раздумьи, оставив бумагу». Капнист прочел написанное на ней шестистишие «Как ни тяжел последний час...». Он взял автограф и «сохранил на память о любимом им поэте» («Сочинения гр. П. И. Капниста», т. I, М., 1901, стр. СXXXIV).

Стр. 213. Пожары. Вызвано пожарами лесов и торфяных болот под Петербургом летом 1868 г.

Стр. 214. «В небе тают облака...» Написано на хуторе Гостиловка близ Овстуга.

Стр. 219. Ю. Ф. Абазе. Посвящено музыкантше и певице Юлии Федоровне Абазе (ум. 1915).

Стр. 221. К. Б. («Я встретил вас, — и все былое...»). По указанию Я. П. Полонского, инициалы в заглавии обозначают начальные буквы переставленных слов «Баронессе Крюденер». Стихотворение переключается с посвященными также ей стихами «Я помню время золотое...»

Стр. 222. А. В. Пл — вой. Написано в альбом Александры Васильевны Плетневой (1826—1901), вдовы друга Пушкина П. А. Плетнева.

Стр. 223. «Брат, столько лет сопутствовавший мне...». Написано по дороге из Москвы в Петербург, куда Тютчев возвращался с похорон брата, Николая Ивановича Тютчева (1801—1870), отставного полковника генерального штаба. По словам И. С. Аксакова, Н. И. Тютчев был не только единственным братом, но «можно сказать, единственным другом Федора Ивановича, у которого вне семьи было великое множество «друзей», но между ними ни одного, с кем преимущественно перед прочими делился он всеми тайнами мысли и сердца, с кем бы состоял в отношениях исключительно тесной, задушевной дружбы. Николай Иванович Тютчев любил брата не только с братскою, но с отцовскою нежностью, и ни с кем не был Федор Иванович так короток, так близко связан всею своею личною судьбою с самого детства» («Биография Ф. И. Тютчева». М., 1886, стр. 307). Об отношении поэта к брату можно судить по его письму к нему от 8 июня 1867 г.: «... с каждым днем все осязательнее чувствуется, что настала та пора, когда так трудно и нерадостно живется, — годы ушли, ваше превосходительство, как говорил мне старый знакомый мне сторож в нашем министерстве, ушли и унесли все, чем жилось. Хотя бы по крайней мере, уходя, они не развели тех, кому было бы так естественно доживать вместе, а то мы с тобою как два корабля, которые дали себя затереть льдами в большом расстоянии один от другого» («Уrania, тютчевский альманах», Л., 1928, стр. 175).

Стр. 224. «От жизни той, что бушевала здесь...» Написано под впечатлением поездки в село Вщиж в Брянском уезде Орловской губернии, некогда бывшее удельным княжеством. Вблизи Вщижа до сих пор сохранились старинные курганы. В своем стихотворении Тютчев намекает на кровавые предания, связанные с Вщижским княжеством. Стихотворение было первоначально заду-

мано Тютчевым в форме ямбических восьмистиший. В рукописях поэта сохранился следующий набросок первой строфы и начальных строк второй:

От жизни той, во дни былые
Пробушевавшей над землей,
Когда здесь силы роковые
Боролись слепо меж собой,
И столько бед здесь совершалось,
И столько крови здесь лилось —
Что уцелело и осталось?
Затихло всё и улеглось.
Лишь кое-где, как из тумана
Давно забытой старины,
Два-три выходят здесь кургана.

II

Стр. 227. К оде Пушкина на вольность. Об интересе Тютчева к оде «Вольность» свидетельствует список последних строф ее, сделанный рукою Тютчева и сохранившийся в рукописном отделе Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, среди бумаг Погодина. *Алкей* — Алкей, греческий поэт VII в. до н. э., в своих политических одах воспевал ненависть к тирании.

Стр. 228. Олегов щит. Написано в связи с русско-турецкой войной и варьирует ту же тему, что и одноименное стихотворение Пушкина («Когда ко граду Константина...»). В обоих стихотворениях вспоминается летописное сказание о щите, прибитом киевским князем Олегом на воротах Царьграда.

Стр. 230. Цицерон. Написано, повидимому, в связи с революционными событиями 1830 г., которые Тютчев считал началом «революционной эры» в Европе. В 3—4 строках Тютчев цитирует слова Цицерона: «Скорблю, что я, выступивши в жизни, как бы в дорогу, с некоторым опозданием,—прежде чем был окончен путь, впал в эту государственную ночь» («Брут или диалоги о славных ораторах», гл. ХСVI).

Стр. 231. Альпы. В стихотворении иносказательно изображена духовная взаимосвязь между русским и славянскими народами. (См. Р. Ф. Брандт, *Материалы, для исследования: «Федор Иванович Тютчев и его поэзия»*, СПб, 1912, стр. 33—34).

Стр. 232. «Как дочь родную на закланье...» Написано в связи с антирусской кампанией, развернувшейся в баварской печати после взятия Варшавы 26 августа 1831 г.

Стр. 234. 29 января 1837 («Из чьей руки свинец смертельный...»). Написано под впечатлением известия о смерти А. С. Пушкина. Кроме этого стихотворения, Тютчев оставил еще одно высказывание о великом поэте. В письме к кн. И. С. Гагарину от 7/19 июля 1836 г., говоря о «Трех повестях» Н. Ф. Павлова, он замечает: «Мне приятно воздать честь русскому уму, по самой сущности своей чуждающемуся риторике, которая составляет язву или, вернее, первородный грех французского ума. Вот отчего Пушкин так высоко стоит над всеми современными французскими поэтами» (Перевод с французского, — «Русский архив», 1879, кн. II., стр. 122).

Стр. 235. «Смотри, как за пад разгоре лся...» Р. Ф. Брандт справедливо рассматривает это стихотворение как символическое

изображение «разлада между западом и востоком европейским» («Материалы для исследования: Федор Иванович Тютчев и его поэзия», СПб. 1912, стр. 41).

Стр. 236. С л а в я н а м. («Вековать ли нам в разлуке...»). Написано в альбом чешского писателя и ученого Вацлава Ганки (1791—1861). Тютчев познакомился с ним в 1841 г. В подлиннике стихотворения имеется приписка: «Вам, милостивый государь, душевно преданный и за радушный прием вам признательный Ф. Тютчев». В 1867 г., во время славянского съезда в России, Тютчев напечатал это стихотворение в несколько переработанной редакции, в значительной степени обусловленной временными и местными причинами, с припиской двенадцати строк, посвященных памяти Ганки:

Так взывал я, так гласил я.
Тридцать лет с тех пор ушло —
Всё упорнее усилья,
Всё назойливее зло.
Ты, стоящий днесь пред Богом,
Правды муж, святая тень,
Будь вся жизнь твоя залогом,
Что придет желанный день.
За твое же постоянство
В нескончаемой борьбе,
Первый праздник *всеславянства*
Приношеньем будь тебе.

Стр. 238. М о р е и у т е с. Море символизирует революционные бури 1848 г., утес — Россию. Образы этого стихотворения восходят к незадолго до того написанному стихотворению Жуковского «Русскому великану». (См. параллельный разбор обоих стихотворений в статье Д. Д. Благого «Творчество Тютчева» — «Три века», М., 1933, стр. 217—220). По замечанию И. С. Аксакова, «относительно стремительности, силы, *красивости* стиха и богатства созвучий у Тютчева нет другого подобного стихотворения» («Биография Ф. И. Тютчева», М., 1886, стр. 118).

Стр. 240. Н а п о л е о н. Строки 1—5 звучат отголоском следующих слов Шатобриана о Наполеоне: «Детище нашей революции, он паразитически похож на свою мать»; «рожденный главным образом для того, чтобы разрушать, Буонапарте несет зло в самом себе» («De Buonaparte, des Bourbons et de la nécessité de se rallier à nos princes légitimes, pour le bonheur de la France et celui de l'Europe»). Первые 8 строк 2-й части написаны в 1832—1835 гг. и навеяны характеристикой Наполеона во «Французских делах» («Französische Zustände») Гейне: по словам Гейне, Наполеон был «гением, у которого в голове гнездились орлы вдохновения, между тем как в сердце извивались змеи расчета». Восьмистишие это должно было быть напечатано в 3-м томе пушкинского «Современника» за 1836 г., но подверглось цензурному запрету «за неясность мысли автора, могущей «подать повод к толкам весьма неопределенным». Окончательная редакция стихотворения относится к концу 40-х гг. и вызвана повышенным интересом Тютчева к проблеме революции и исторических судеб России. В это же время Тютчев работал над публицистическим трудом «Россия и Запад», одна из глав которого должна была быть посвящена России и Наполеону. Черновые отрывки этого труда приведены в «Биографии Ф. И. Тютчева»

И. С. Аксакова (М., 1886). Следующие заметки о Наполеоне переключаются с 1-й частью стихотворения: «Риторика по поводу Наполеона заслонила историческую действительность, смысла которой не поняла и поэзия. Это центавр, который одною половиною своего тела — Революция». *Да сбудутся ее судьбы* — слова из приказа Наполеона по армии от 22 июня 1812 г.; «Россия увлекаема Роком: да свершатся ее судьбы». *Года прошли...* — в 1841 г. прах Наполеона был перевезен с острова святой Елены в Париж.

Стр. 243. Венеция. В одном из автографов имеется помета: «буримэ о Венеции на манер Языкова». Повидимому, Тютчев намекает на пристрастие Языкова к смежным рифмам; по крайней мере в строфике Языкова нет прямых совпадений с тютчевской «Венецией». *Дождь* — глава Венецианской республики — ежегодно «обручался» с Адриатическим морем, бросая в его волны кольцо. *Тень от львиного крыла* — крылатый лев служил эмблемой св. Марка, покровителя Венеции; колонна, увенчанная этой эмблемой, стоит в Венеции перед дворцом дождей. *Расцвет Венецианской республики*, на который намекает Тютчев, падает в особенности на XII—XV вв. *Тяжелая цепь* — с 1814 по 1866 г. Венеция в составе Ломбардо-Венецианского королевства находилась под владычеством Австрии.

Стр. 244. Неман. Написано проездом через Ковно и вызвано воспоминанием о переходе Немана армией Наполеона 25 июня 1812 г. Посылая это стихотворение жене, Тютчев писал ей 27 сентября 1853 г.: «Так как ты еще занимаешься русским языком, то вот тебе нечто для испытания твоих познаний. Это стихи, о которых я тебе говорил, навеянные Неманом. Чтобы их уразуметь, следовало бы прочесть страницу из истории 1812 г. Сегюра, где говорится о переходе через эту реку армии Наполеона, или по крайней мере вспомнить картинки, так часто встречающиеся на постоялых дворах и изображающие это событие» (Перевод с французского. — «Старина и Новизна», кн. XVIII, СПб., 1914, стр. 53). Дата письма указана неверно. Тютчев имеет в виду книгу гр. Ф.-П. Сегюра «Histoire de Napoléon et de la Grande armée» («История Наполеона и Великой армии»), вышедшую в 1824 г. и пользовавшуюся огромным успехом благодаря яркой и увлекательной манере изложения. Непосредственных отзвуков рассказа Сегюра в стихотворении Тютчева не чувствуется.

Стр. 246. «Теперь тебе не до стихов...». Написано во время осады Севастополя.

Стр. 247. «Эти бедные селенья...». По прочтении этого стихотворения Т. Г. Шевченко записал в своем дневнике: «... с наслаждением прочитал трехкуплетное стихотворение Ф. И. Тютчева: Эти бедные селенья» («Дневник», М.—Л., 1931, стр. 205).

Стр. 248. «Вот от моря и до моря...» Написано по дороге из Петербурга в Москву. По приезде туда Тютчев услышал о падении Севастополя. В письме к жене от 9 сентября 1855 г. Тютчев пишет: «Линия телеграфа, вдоль которой я ехал 400 верст, ни о чем не поведала мне, и лишь по прибытии сюда, нагнав к моему брату, я узнал от него ужасную новость». В течение нескольких дней Тютчев, по собственным словам, находился под «ошеломляющим, подавляющим впечатлением севастопольской катастрофы» (Перевод с французского. — «Старина и Новизна», кн. XIX, СПб., 1915, стр. 104). Тютчев остро переживал военные неудачи России в 1853—1856 гг., которые он расценивал как закономерные последствия внутренней политики Николая I. Ответственность за поражения, понесенные родиной в Крымскую войну, Тютчев возлагал прежде

всего на самого царя. С особенной резкостью поэт выразил свое отношение к нему в стихотворной эпиграмме-эпитафии:

Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, —
Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

Стр. 249. 1 8 5 6 («Стоим мы слепо пред Судьбою...»). Написано в альбом романиста Григория Петровича Данилевского (1829—1890) и связано с модным в эпоху Крымской войны спиритизмом («столоверчением»).

Стр. 250. «Над этой темною толпой...» Вызвано первыми мероприятиями по подготовке крестьянской реформы. В первоначальной редакции читается так:

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..
Смрад, безобразье, нищета, —
Тут человечество немеет, —
Кто ж это всё прикрыть сумеет?..
Ты, риза чистая Христа!

Стр. 251. На юбилей князя П. А. Вяземского. Читано на банкете, устроенном Академией наук в честь 50-летнего юбилея литературной деятельности Петра Андреевича Вяземского (1792—1878). Вяземский принадлежал к числу ближайших приятелей Тютчева и его семьи. С характеристикой литературного пути Вяземского, данной Тютчевым в настоящем стихотворении, перекликаются следующие строки из письма П. А. Плетнева к Вяземскому от 5/17 января 1859 г.: «Недавно с Тютчевым я опять перечитал всю тетрадь вашу, и мы оба не могли не почувствовать, что сила, свежесть и грация стихов ваших идут в диаметрально противоположную сторону со счетом дней ваших: чем тяжелее груз последних, тем моложе и игривее характер первых» («Сочинения и переписка П. А. Плетнева», т. III, стр. 460).

Стр. 253. Князю П. А. Вяземскому («Теперь не то, что за полгода...»). Написано по поводу празднования в Петергофе дня рождения Вяземского. *За полгода* — см. примечание к стихотворению «На юбилей князя П. А. Вяземского».

Стр. 254. «Ужасный сон отяготел над нами...» Вызвано дипломатическим вмешательством Австрии, Англии и Франции в польские дела. *Распяtie и нож* — намек на участие католического духовенства в польском восстании.

Стр. 255. Епископа. Написано в ответ на обнародованную 26 ноября 1864 г. энциклику папы Пия IX, осуждавшую в числе разных «заблуждений века» свободу совести. В 1-й строфе Тютчев вспоминает разрушение иерусалимского храма римлянами в 70 г. н. э.

Стр. 256. На юбилей М. В. Ломоносова («Он, умирая, сомневался...»). Написано по поводу столетней годовщины со дня смерти Михаила Васильевича Ломоносова (1711—1765). *Зловещая дума* — умирающий Ломоносов страшился, что его культурные начинания умрут вместе с ним. *Борец ветхозаветный* — Иаков,

один из древнееврейских патриархов; по библейскому сказанию, с ним однажды «боролся некто до появления зари», и только на рассвете Иаков понял, что боролся с богом («Книга бытия»).

Стр. 257. Восход солнца. Стихотворение в аллегорической форме выражает мечты о политическом и национальном возрождении восточных славян. По поводу этих стихов И. С. Аксаков пишет: «Здесь под образом восходящего солнца подразумевается пробуждение Востока...; однако образ сам по себе так самостоятельно хорош, что очевидно, если не перевесил аллегорию в душе поэта, то и не подчинился ей, а вылился свободно и независимо». («Биография Ф. И. Тютчева», М., 1886, стр. 118.)

Стр. 258. «Небо бледно голубое...» Вызвано торжествами по случаю приезда в Россию в сентябре 1866 г. датской принцессы Дагмары, невесты наследника (впоследствии императора Александра III).

Стр. 260. «Когда дряхлеющие силы...» Ближайшим поводом к этому стихотворению послужили стихи кн. П. А. Вяземского «Воспоминания из Буало» и «Хлестаков», высмеивавшие редактора «Русского вестника» и «Московских ведомостей» М. Н. Каткова. Но стихотворение Тютчева гораздо шире не только по своему объективному смыслу, но, возможно, и по замыслу, так как в других одновременных юмористических стихах Вяземского его «старческий задор» направлялся и против левого фланга русской общественности. С косвенной характеристикой Вяземского, данной в комментированном стихотворении, переключается прямая его характеристика в письме Тютчева к дочери Е. Ф. Тютчевой от 3 января 1869 г. из Петербурга: «Намедни мы были у него (Вяземского. — Ред.) на литературном вечере; нам прочли статью, которую он написал по поводу романа Толстого («Война и мир». — Ред.) и которая появится в журнале Бартенева («Русский архив». — Ред.). Это довольно любопытно как воспоминания и личные впечатления, и весьма неудовлетворительно как литературная и философская оценка. Но натуры столь резкие, как Вяземский, являются по отношению к новым поколениям тем, чем является для малоисследованной страны враждебно настроенный и предрешенный посетитель-иностранец» (Перевод с французского. — Мурановский архив).

Стр. 262. На юбилей Н. М. Карамзина. Написано для прочтения на литературном вечере памяти Николая Михайловича Карамзина (1766—1826) в Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым, 3 декабря 1866 г. Столетняя годовщина со дня рождения Карамзина исполнилась 1 декабря.

Стр. 264. «Ты долго ль будешь за туманом...» Написано по поводу восстания критян против турецкого владычества. Тютчев надеялся на то, что Россия окажет критянам поддержку.

Стр. 265. Дым. Написано в связи с выходом в свет романа И. С. Тургенева «Дым». Тургеневская критика России с либерально-буржуазных западнических позиций была неприемлема для Тютчева. К тому же времени относится следующая его эпиграмма:

«И дым отечества нам сладок и приятен!» —
Так поэтически век прошлый говорит;
А в наш — и сам талант всё ищет в солнце пятен,
И смрадным дымом он отечество коптит!

Под «волшебным лесом» Тютчев разумеет творчество Тургенева конца 40—50-х гг. Здесь уместно вспомнить восторженную оценку,

данную Тютчевым «Запискам охотника». В письме к жене от 13 сентября 1852 г. он пишет: «...Я только что прочитал два тома «Записок охотника» Тургенева, где есть вещи восхитительные. Тут проявляется такая сила таланта, что это благотворно действует на меня; чувство природы представляется мне каким-то откровением». (Перевод с французского.— «Старина и Новизна», кн. XVIII, СПб., 1914, стр. 40.)

Стр. 267. Славянам («Они кричат, они грозятся...»). Эпиграф — слова австрийского министра иностранных дел графа фон Бейста. Стихотворение было прочитано 21 мая 1867 г. на банкете, данном Москвой славянским гостям. В этом стихотворении с особенной резкостью выражена точка зрения Тютчева на взаимоотношения немцев и славян. Говоря об Австрии в своем незавершенном труде «Россия и Запад», Тютчев замечает: «Какое было значение Австрии в прошлом? Она выражала факт преобладания одного племени над другим: племени немецкого над славянским». И далее: «Немецкий гнет не только гнет политический, но во сто раз хуже, ибо исстает из той мысли, что преобладание немца над славянином — право естественное» (И. С. Аксаков, Биография Ф. И. Тютчева, М., 1886, стр. 212—213). В неизданном письме к дочери А. Ф. Тютчевой от 3/15 июня 1859 г. Тютчев вновь излагает свои соображения насчет роли Австрии в истории славянства: «...через нее и в ней германская раса чувствует себя властной подавлять, использовать в своих выгодах и, более морально, чем политически, сводить на-нет две другие великие расы Европы: целиком или отчасти латинскую — в Италии, и славянскую повсюду, где она только может ее настичь... Может показаться нелепым и смешным, что люди, в течение тысячи лет не сумевшие сколько-нибудь практически устроиться у себя, до такой степени одержимы страстью господствовать над другими. Пусть так! — но стоит присмотреться к первому попавшемуся немцу в России, — будь он самый умный или самый посредственный, — присмотреться к нему, говорю я, в его повседневных сношениях со всем, что не принадлежит к его расе, чтобы понять, до какой степени глубокое, фанатически-нетерпимое и непримиримое убеждение в превосходстве своего племени составляет самую сущность его природы, первейшее условие его морального существования, и до каких крайних пределов ненависти и озлобления может он быть доведен всякой попыткой сомнения в законности этого убеждения» (Перевод с французского.— Мурановский архив).

Стр. 269. На юбилей князя А. М. Горчакова. Написано по поводу пятидесятилетия государственной деятельности кн. Александра Михайловича Горчакова (1798—1883). С 1856 г. Горчаков занимал пост министра иностранных дел. В 1867 г., в связи с юбилеем, он был назначен государственным канцлером. Дни кроваво-роковые — вступление Горчакова в должность министра иностранных дел совпало с окончанием Крымской войны. Тютчев находился в близких отношениях с Горчаковым. Считая своим долгом всячески поддерживать «обычно национальные побуждения политики Горчакова», Тютчев не раз выступал в роли негласного посредника между ним и консервативными органами печати. С последними четырьмя строками стихотворения «На юбилей князя А. М. Горчакова» переключаются следующие строки из письма Тютчева к нему от 10 января 1867 г. Упомянув об одном дипломатическом документе, вышедшем из канцелярии Горчакова, Тютчев пишет: «При чтении его передо мной как бы более ясно пред-

стало всё значение вашей действительной исторической миссии. Вы очевидно были призваны внести новое начало в дела мира, новую и весьма значительную силу, духовную силу России. Вам будет принадлежать честь ее образования и обращения в политическую силу, а это — огромное событие» (Перевод с французского. — «Литературное наследство», вып. 19—21, 1935, стр. 232).

Стр. 270. В деревне. В рукописном списке стихотворения, сделанном сыном поэта, И. Ф. Тютчевым, имеется следующее пояснение: «Стихотворение это написано Ф. И. Тютчевым в одно из последних пребываний его в принадлежавшем ему имении с. Овстуге и вызвано видом собаки, гнавшейся за стадом гусей и уток» (Мурановский архив). Однако под пером Тютчева эта деревенская сценка приобрела значение общественно-политической аллегии.

Стр. 272. Современное. Стихотворение вызвано подготовкой торжественного открытия Суэцкого канала, которое состоялось 16 ноября 1869 года. *Рима дочь, его жена* — императрица Евгения, жена Наполеона III; «дочерью Рима» Тютчев называет ее как католичку.

Стр. 274. Гус на костре. Написано как текст к живой картине, поставленной Славянским благотворительным комитетом. Гус Ян (1369—1415) — чешский проповедник-реформатор. Обвиненный в ереси, Гус был сожжен живым по приговору католической церкви. Тютчев проявлял живой интерес к Гусу и гусситству. В статье 1848 г. «Россия и революция» он писал: «Вся еще сохранившаяся в Богемии национальная жизнь сосредоточена в ее гусситских верованиях, в этом постоянно живучем протесте ее угнетенной славянской национальности против захватов римской церкви, а также и против немецкого господства. В этом-то состоит та связь, которая соединяет ее со всем ее прошлым, исполненным борьбы и славы, и тут же заключается то звено, которое когда-нибудь свяжет чеха Богемии с его восточными братьями». (Перевод с французского. — Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений, изд. 6-е, стр. 486). *Вероломный кесарь* — германский император Сигизмунд, давший Гусу, вызванному на церковный собор в Констанце, охранную грамоту, но под давлением собора признавший ее недействительной, как выданную еретiku. *Непозабитая с тех пор* — благодаря обратившемуся в пословицу восклицанию Гуса «*Sancta simplicitas!*» («Святая простота!»).

Стр. 276. Два единства. Прочитано на празднестве, устроенном Славянским благотворительным комитетом по случаю присоединения к православию тринадцати чехов 1 октября 1870 г. *Кровь льётся через край* — намек на франко-прусскую войну. *Оракул наших дней* — Бисмарк. *Но мы попробуем спаять его любовью* — Тютчев понимал, что не одной России угрожает германский милитаризм. Все те народы, которые, подобно ей, разделяют «пламенную, слепую, неистовую ненависть» к себе немцев, испытывают и опасность германского вторжения. И перед лицом этой опасности Тютчев противопоставляет прусско-бисмарковской формуле германского единства свою формулу славянского единства. «Самому русскому обществу, — писал он в одном из своих писем, — самой независимой и самой национально настроенной его части, надлежит... всеми возможными средствами расширять всякого рода сношения со славянами, в области языка, религии, искусства, промышленности, — одним словом, во всем, что, объединяя их между собою, могло бы связать с Россией рассеянные члены великой Семьи...» (Письмо к кн. Е. Э. Трубецкой от 6 декабря 1871 г. Пе-

ревод с французского. — И. С. Аксаков, Биографии Ф. И. Тютчева, М., 1886, стр. 217. Цитируется в заново отредактированном переводе).

Стр. 277. Князю А. М. Горчакову («Да, вы сдержали ваше слово...»). Вызвано декларацией кн. А. М. Горчакова о том, что русское правительство не считает себя больше связанным статьей 14-й Парижского мирного трактата 1856 г., ограничивающей права России на Черном море. Декларация обнародована 19 октября 1870 г. Пояснением к последней строфе стихотворения служит письмо Тютчева к дочери А. Ф. Аксаковой от 22 ноября 1870 г., в котором «твердому и достойному образу действий кабинета» он противопоставляет «жалкое и даже омерзительное поведение петербургских салонов»: «...это просто самое наивное выражение отсутствия всякого национального чувства и понимания, — пишет Тютчев. — Я встречал бывших министров и теперешних государственных деятелей, которые, на основании изречений иностранной прессы, краснели самым искренним образом от ужасного скандала, в коем мы провинились, отринув одной своей собственной волей статью трактата, а иные заявляли, что впредь они не решатся смотреть иностранцам в лицо... Буквально так, и они изливали все эти дурачества с выражением раскаянья и добродетельной грусти». (Перевод с французского. — «Литературное наследство», вып. 19—21. 1935, стр. 245).

Стр. 278. Черное море. Написано к живым картинам, данным в пользу Славянского благотворительного комитета 29 марта 1871 г., и вызвано, как и предыдущее стихотворение, отменой 14-й статьи Парижского мирного трактата 1856 г. Строки, выделенные курсивом в 4-й строфе, — цитаты из стихотворения Пушкина «К морю».

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	3
Ф. И. Тютчев. <i>Статья К. Пицарева</i>	5

I

А. Н. М.	33
Слезы	34
К Н.	36
Проблеск	37
Вечер	39
Caché-caché	40
Видение	41
Весенняя гроза	42
Бессонница	43
Летний вечер	44
Сны	45
Сон на море	46
Утро в горах	47
Снежные горы	48
К Н. Н.	49
Последний катаклизм	50
«Душа хотела б быть в звездой...»	51
«Ты зрел его в кругу большого света...»	52
«В толпе людей, в нескромном шуме дня...»	53
«Через ливонские я проезжал поля...»	54
«Песок сыпучий по колени...»	55
«Здесь, где так вяло свод небесный...»	56
Успокоение	57
«Есть в светлости осенних вечероз...»	58
Листья	59
Mal agit	61
«Сей день, я помню, для меня...»	62
Двум сестрам	63
Безумие	64
Странник	65
Конь морской	65
Весенние воды	67
«Как над горячею золой...»	68
Silentium!	69
«На древе человечества высоком...»	70

« Душа моя — элизиум теней... »	71
К*** (« Уста с улыбкою приветной... »)	72
« С горы скатившись, камень лег в долине... »	73
« Я лютеран люблю богослуженье... »	74
« Из края в край, из града в град... »	75
Поддень	77
« Я помню время золотое... »	78
« В душном воздухе молчанье... »	79
« Что ты клонишь над водами... »	80
« Вечер мгlistый и ненастный... »	81
« И гроб опущен уж в могилу... »	82
« Восток белел... Ладья катилась... »	83
« Как птичка, с раннею зарей... »	84
« Сижу задумчив и один... »	85
« Там, где горы, убегаю... »	87
« Зима недаром злится... »	89
« Как сладко дремлет сад темнозеленый... »	90
« С поляны коршун поднялся... »	91
« Какое дикое ущелье! »	92
« Над виноградными холмами... »	93
« Тени сизые смешались... »	94
« О чем ты воешь, ветер ночной? »	95
« Поток стужился и тускнеет... »	96
« Нет, моего к тебе пристрастья... »	97
« Еще земли печален вид... »	98
« Еще земли печален вид... »	99
Фотан	100
« Не то, что мните вы, природа... »	100
« Яркий снег сиял в долине... »	102
« И чувства нет в твоих очах... »	103
« Люблю глаза твои, мой друг... »	104
« Вчера, в мечтах обвороженных... »	105
1 декабря 1837 (« Так здесь-то суждено нам было... »)	107
Итальянская villa	108
« Давно ль, давно ль, о юг блаженный... »	110
« С какою негой, с какой тоской влюбленной... »	112
Арфа скальда	113
Весна	114
День и ночь	116
Не верь, не верь поэту!	117
Лебедь	118
« Живым сочувствием привета... »	119
« Глядел я, стоя над Невой... »	120
Колумб	121
« Как он любил родные ели... »	122
« Еще томлюсь тоской желаний... »	123
« Неохотно и несмело... »	124
« Итак, опять увиделся я с вами... »	125
« Тихой ночью, поздним летом... »	126
« Когда в кругу убийственных забот... »	127
« По равнине вод лазурной... »	128
« Вновь твои я вижу очи... »	129
« Слезы людские, о слезы людские... »	130
« Как дымный столп светлеет в вышине... »	131
Поэзия	132
Рим ночью	133
« Кончен пир, умолкли хоры... »	134

«Еще шумел веселый день...»	135
«Смотри, как на речном просторе...»	136
Близнецы	137
«Святая ночь на небосклон взошла...»	138
На Неве	139
«Пошли, Господь, свою отраду...»	140
«Под дыханьем непогоды...»	141
«Обвеян вещею дремотой...»	142
Графине Р. (в ответ на письмо)	143
«Не рассуждай, не хлопочи!..»	145
Два голоса	146
«Как ни дышиг поддень знойный...»	147
«Не остывшая от зною...»	148
«Как весел грохот летних бурь...»	149
«О, как убийственно мы любим...»	150
Первый лист	152
Наш век	153
Волна и дума	154
«В разлуке есть высокое значенье...»	155
«День вечерет, ночь близка...»	156
«Недаром милосердным Богом...»	157
Предопределение	158
«Не знаю я, коснется ль Благодать...»	159
«Не говори: меня он, как и прежде любит...»	160
«О, не тревожь меня укорой справедливой!..»	161
«Чему молилась ты с любовью...»	162
«Я очи знал, — о эти очи!»	163
«Ты волна моя морская»	164
Памяти В. А. Жуковского	166
«Сияет солнце, воды блещут...»	168
«Чародейкою Зимою...»	169
Последняя любовь	170
Лето 1854	171
«Увы, что нашего незнанья...»	172
«Пламя рдеет, пламя пышет...»	173
«Так в жизни есть мгновения...»	174
«О вещая душа моя!..»	175
Н. Ф. Щербине	176
«Есть в осени первоначальной...»	177
«Смотри, как роща зеленеет...»	178
«В часы, когда бывает...»	179
«Она сидела на полу...»	181
«Осенней поздней порою»	182
На возвратном пути	183
Декабрьское утро	185
Е. Н. Анненковой	185
«Хоть я и свил гнездо в долине...»	187
«Играй, покуда над тобою...»	188
«При посылке Нового завета...»	189
А. А. Фету	190
Н. И. Кролю	191
Н. С. Акинфиевой	192
«Как ни бесилона злоречье...»	194
«Весь день она лежала в забытьи...»	195
«Утихла биза... Легче дышиг...»	196
«Как неразгаданная тайна...»	197

«О, этот юг! о, эта Ницца!..»	198
«Как хорошо ты, о море ночное...»	199
«Когда на то нет божьего согласия...»	200
«Есть и в моем страдальческом застое...»	201
«Певучесть есть в морских волнах...»	203
Другу моему Я. П. Полонскому	204
15 июля 1865 г. («Сегодня, друг, пятнадцать лет ми- нуло...»)	205
Накануне годовщины 4 августа 1864 г.	206
«Как неожиданно и ярко...»	207
«Ночное небо так угрюмо...»	208
«Нет дня, чтобы душа не ныла...»	209
«Тихо в озере струится»	210
«Как ни тяжел последний час...»	211
«Опять стою я над Невой...»	212
Пожары	213
«В небе тают облака...»	214
«Нам не дано предугадать...»	215
«Две силы есть — две роковые силы...»	216
«Природа — сфинкс. И тем она верней...»	218
Ю. Ф. Абазе	219
«Как нас ни угнетай разлука...»	220
К. Б. («Я встретил вас — и все былое...»)	221
А. В. Пл — вой	222
«Брат, столько лет сопутствовавший мне...»	223
«От жизни той, что бушевала здесь...»	224

II

К оде Пушкина на Вольность	227
Олегов щиг	228
Могила Наполеона	229
Цицерон	230
Альпы	231
«Как дочь родную на закланье...»	232
29 января 1837 г.	234
«Смотри, как запад разгорелся...»	235
<Славянам>	236
Море и утес	238
Наполеон	240
Русской женщине	242
Венеция	243
Неман	244
«Теперь тебе не до стихов...»	246
«Эти бедные селенья...»	247
«Вот от моря и до моря...»	248
1856	249
«Над этой темною толпой...»	250
На юбилей князя П. А. Вяземского	251
Князю П. А. Вяземскому	253
«Ужасный сон отяготел над нами...»	254
Епископа	255
<На юбилей М. В. Ломоносова>	256
Восход солнца	257
«Небо бледногубое...»	258

«Когда дряхлеющие силы...»	260
«Умом Россию не понять...»	261
На юбилей Н. М. Карамзина	262
«Ты долго ль будешь за туманом...»	264
Дым	265
Славянам	267
На юбилей князя А. М. Горчакова	269
В деревне	270
Современное	272
Гус на костре	274
Два единства	276
<Князю А. М. Горчакову>	277
Черное море	278
Комментарии	280

Обложка художника
Н. В. Ильина

Редактор *А. Котов*

Подписано к печати 27/XI—1944 г.
А—13010. Тираж 25 000. 19 печ. л.
9,3_уч.-аят. л. Заказ № 243. Цена 5 р.

3-я типография «Красный пролетарий»
треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при
СНК РСФСР. Москва, Краснопроле-
тарская, 16.

б р, б.

ОГИЗ • Гослитиздат • 1945